



СКОЛЬКО СЧАСТЬЯ,
СКОЛЬКО МУКИ...

АНАСТАСИЯ
ТУМАНОВА

любвные тайны

Анастасия Туманова
О, сколько счастья,
сколько муки...

Серия «Цыганская сага», книга 3

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2524835

Анастасия Туманова. О сколько счастья, сколько муки...: Эксмо;

Москва; 2011

ISBN 978-5-699-52380-1

Аннотация

Ни минуты не раздумывала Настя, когда отказалась от блестящего будущего лучшей певицы, от предложения руки и сердца, которое ей сделал князь Сбежнев.

Она сбежала с Ильей и обрекла себя на полуголодную, невыносимо трудную жизнь таборной цыганки – потому что любила, потому что готова была пожертвовать ради Ильи всем, даже жизнью.

Конечно, ее любовь была взаимной и Илья не мыслил без нее жизни, но вот только хранить ей верность никогда не считал нужным. Настя всегда жила с ощущением, что ее счастье может разрушиться в любую минуту. Неужели ее предчувствия оправдаются?

Ранее роман выходил под названием [[url=https://www.litres.ru/anastasiya-drobina/serdce-dikarki/](https://www.litres.ru/anastasiya-drobina/serdce-dikarki/)]«Сердце дикарки».[/url]

Содержание

ПРОЛОГ	4
ГЛАВА 1	19
ГЛАВА 2	55
ГЛАВА 3	84
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Анастасия Туманова

О сколько счастья, сколько муки...

ПРОЛОГ

Ветреным ноябрьским вечером 1895 года ресторан Осетрова в Грузинах был полон. Цыганский хор заканчивал очередное выступление: на эстраде перед столиками сидели на стульях певицы в черных и белых платьях, среди которых выделялись яркие юбки плясуний, за спинами женщин стояли гитаристы в синих казакинях. В зале пахло свечным воском, дичью, крепкими духами, сигарный дым пластами плавал под потолком. Гости были уже изрядно пьяны и бьющую плечами перед столиками танцовщицу – совсем девочку в нарядном платье алого шелка – подбадривали нетвердыми голосами. Наконец девчонка отплясала, блеснула напоследок зубами, вернулась на место, и почти сразу же хор встал. У цыган было полчаса на отдых перед следующим выходом.

В крошечную комнату за большой залой набилось больше двадцати человек, и тут же стало не развернуться. Глава хора Яков Васильев, семидесятилетний старик с острым неласковым взглядом и по-молодому стройной фигурой, бе-

режно неся за гриф гитару, вышел в ресторанные сени. За ним последовал его гость – высокий человек лет пятидесяти, еще красивый, с густыми седыми волосами и осанкой, выдававшей отставного военного. Он улыбался старому цыгану, но серые глаза смотрели холодно. Впрочем, Яков Васильев знал: другого взгляда у графа Воронина не бывает.

– Ну, ваша милость, понравилось?

– Не в обиду будь сказано, Яков Васильич, – не понравилось.

– Что ж так? – без удивления спросил хоревод. – Разве плохи голоса в хоре?

– Плохи, – без обиняков заявил Воронин. – Я вас семнадцать лет не слышал и на правах старого поклонника говорю: голосов хороших нет. Без твоей Насти и без моей Зины хор гроша не стоит.

– Эк чего вспомнили, Иван Аполлоныч... – усмехнулся в усы хоревод, и в темноте сеней граф не заметил, какой горькой была эта улыбка. – Настьки не сыскать... А Зинку, между прочим, могли бы и обратно к нам отпустить.

– Пойдет она, ждите! – рассмеялся граф. – Была Зина Хрустальная – станет графиня Воронина.

– Так не врут наши брехуны? Решились все-таки жениться?

Граф смущенно улыбнулся, махнул рукой.

– Что ж решаться, когда почти двадцать лет живем мужем и женой? Дети взрослые, старшего в этом году намерен

определять в университет... Кем он там будет? Бастардом? Незаконнорожденным? На переправе коней не меняют, новой жены мне уже не взять, а Зина... Видит бог, она достойна быть графиней.

– Что ж, дело. Зинка-то не приедет в хор похвастаться?

– Приедет, отчего же. Ждите после Покрова.

Граф простился коротким наклоном головы и заспешил к выходу. Старый цыган проводил его взглядом, закрыл глаза. В сенях кто-то из половых оставил керосиновую лампу. Она горела, чадая сизым дымом, и в ее свете лицо хоревода показалось бы случайно заглянувшему сюда совсем старым, усталым и измученным. С минуту он стоял не двигаясь; затем, прислонив гитару к стене, сделал несколько шагов по коридору, нащупал в темноте дверную ручку и вышел во двор. Сразу же у него захватило дух от холода, в лицо ударили колючие снежинки. Яков Васильев спустился с крыльца, разбил сапогом кромку льда у последней ступеньки, задрал голову. Над ним глухо шумели облетевшие ветлы. Вдохнув морозного воздуха, старый хоревод потер кулаком лоб. Грустно подумал, что Воронин прав: голосов прежних в хоре нету. Под сердцем засосала знакомая боль. Не прошедшая, не утихшая за годы, появляющаяся каждый раз, когда он вспоминал о дочери. О красавице Насте, единственной радости, давным-давно сбежавшей из хора бог знает с кем.

Яков Васильев вспомнил далекий 1879 год, первый год после турецкой войны, Москву, наводненную военными,

полные рестораны, сверкающие Георгиевские кресты, эполеты, загорелые лица офицеров, героев Плевны и Шипки, и – Настю. Свою шестнадцатилетнюю дочку, солистку хора, певицу с таким голосом, какого Яков Васильев никогда не слышал прежде и не услышит, это он знал точно, до самой смерти.

Даже не будь Настька его дочерью, Яков Васильев не побоялся бы поклясться на иконе: подобной красоты еще не родил свет. Тоненькая, смуглая, косы до колен, вьющаяся прядка у виска, брови вразлет, глаза – тьма-тьмущая без дна... И голос, какой у нее был голос... На всю Москву гремела слава Насти Васильевой, в ресторан Осетрова съезжались слушать «несравненную Настю» купцы и дворяне, шампанское лилось реками, деньги сыпались, как снег. У Якова Васильева валялся в ногах цвет московской знати, умоляя отдать дочь за любую цену, но хоревод не соглашался. Настька и слышать не хотела о том, чтобы идти на содержание, сама никого не любила, и хоревод отказывал поклонникам дочери раз за разом, ничуть не переживая из-за этого и зная, что, покуда Настька в хоре, с голоду они точно не умрут.

А потом появился князь Сбежнев. Отпрыск старинного, но обедневшего дворянского рода, герой войны, георгиевский кавалер, синеглазый красавец с мягкой улыбкой. Начал он с того, что сказал и Насте, и ее отцу, что не собирается брать певицу на содержание, а хочет жениться на ней. Настя заколебалась, однако Яков Васильев не утратил здравого

смысла и поставил еще одно условие: сорок тысяч. Сумма была очень значительная; более того, хоревод не сомневался, что у князя ее нет, и рассчитывал получить хотя бы половину названного. Однако Сбежнев с легкостью согласился, и Яков Васильев сразу пожалел, что не запросил пятьдесят. Чтобы собрать нужные деньги, князь уехал в родовое имение и вернулся через полгода, зимой, с деньгами и готовностью немедленно вести Настю к алтарю.

Ах, какое было время, какие люди! Что за гости приезжали в цыганский дом на грязной улочке Живодерке в Грузинах! Каких только блестящих господ не появлялось в цыганском доме, кто только не вертелся возле Насти, кто не лежал у ее ног... И быть бы Настьке княгиней, если б не подвернулся тот самый проклятый конокрад.

И какой только черт принес в Москву этих таборных оборванцев – брата и сестру Смоляковых! Яков Васильев хорошо помнил их, двадцатилетних двойняшек из табора: черных, смуглых, некрасивых. Особенно нехороша была Варька с ее выпирающими зубами и устрашающих размеров носом. Голос у девчонки, впрочем, оказался прекрасный – густой и низкий, редкой силы. Ее брат Илья по прозвищу Смоляко был конокрадом и кофарем {Кофарь – барышник.}, его знали на всех конных ярмарках, и Яков Васильев мог бы поклясться, что ничего, кроме лошадей, парню в жизни не надо. В Москву он приехал ради сестры, потеряв надежду выдать Варьку замуж и рассчитывая пристроить ее хотя бы в

хор. Варьку приняли без всяких сомнений, Илья тут же начал барышничать на Конной площади и, вероятно, крутил бы лошадям хвосты до конца дней своих, если бы Яков Васильев случайно не услышал, как брат и сестра поют вместе. Ему, опытному хореводу, хватило нескольких секунд, чтобы понять: лучшего тенора, чем у этого чумазого конного вора, не было ни у одного певца в Москве.

И ведь до последнего, паршивец подколесный, отказывался петь в хоре! Чего только не наслушался любимый племянник хоревода Митро, которому Яков Васильев поручил уговаривать Илью! И «дурацкое дело», и «не цыганское занятие», и «пусть вам Варька воет», и «пошел ты к черту, обратно в табор съеду»... И век бы им было не достучаться до его бестолковой таборной башки, если б не Настька. Сам Яков Васильевич тогда не придавал этому значения, но хоровые цыгане говорили в один голос: Илья Смоляко пропал в тот же миг, как увидел Настю.

Но Настька-то, Настька-то чего в нем нашла?! Ну да, высокий был, черт, стройный, сильный... Но морда-то черная, как антрацит! Но глазищи-то, как у сатаны, блестящие! И улыбки у него не допроситься даже на публику, а лишнее слово чтоб вымолвил – и мечтать незачем! Чего, впрочем, у Ильи было не отнять – так это голоса. Пел тот таборный каторжник так, что душа переворачивалась, и пьяные купцы ревели в ресторане от их с Варькой «Отойди, не гляди», как недоенные коровы. Уже через месяц в ресторан начали спе-

циально приезжать «на Смоляковых», и в ту зиму у графа Воронина не повернулся бы язык сказать, что в хоре голоса плохи.

Яков Васильев до сих пор понятия не имел, что произошло у Насти с князем Сбежневым, официально считавшимся ее женихом. Знал лишь то, что все цыгане: однажды Настя ушла из дома, вернулась поздним вечером, заплаканная и усталая, наотрез отказалась отвечать, где была, и на следующий день свалилась в нервной горячке. Вскоре стало известно, что князь Сбежнев спешно, ни с кем не простившись, уехал из Москвы. Сначала думали, что в последний момент князь одумался и не захотел связывать свою жизнь с хорошей цыганкой. И лишь потом Яков Васильев догадался, что Настька сама, не спросясь ни отца, ни хора, отказала князю. Отказала ради черного, некрасивого таборного парня.

И кому, кому могло тогда прийти в голову, что Настька сохнет по Илье! Кто бы мог подумать, что они уговорились сбежать вместе из Москвы! Но Илья застал Настю торопливо шагающей по дороге от ворот сбежневского особняка, куда она приходила, чтобы вернуть князю его слово и подарки. Нетрудно было понять, что парень подумал: молодая цыганка, одна, поздним вечером, вся в слезах, спешит уйти из княжеского дома... Разумеется, Илья разом отказался от своего обещания жениться. А Настя была слишком горда, чтобы оправдываться после того, как ее в лицо назвали шлюхой. Видит бог, если бы Яков Васильев знал обо всем этом тогда,

он бы не побоялся взять на душу грех и собственными руками задушил бы паршивца, осмелившегося оскорбить его дочь! Но он ничего не знал: Настя молчала как немая. Молчал и Илья.

В скором времени поползли слухи о связи Смоляко с горничной купцов Баташевых с Большой Полянки. Слухи эти никого не удивили – Илье было двадцать лет, и он ходил в холостых. Но лишь полгода спустя выяснилось, что на самом деле Илья бегал по ночам не к горничной, а к самой купчихе Баташевой. Яков Васильев ума не мог приложить, как этому таборному вору удалось так здорово пристроиться. Да хоровод и не особенно задумывался о том, поскольку его гораздо больше беспокоила судьба родной дочери. После разрыва с князем и страшной ссоры с Ильей Настя слегла в постель, ползими пролежав в горячке. Цыгане всерьез волновались за жизнь девушки, но она все-таки оправилась, поднялась, вернулась в хор, снова запела любимые романсы – а весной в дом на Живодерке явились сваты. Богатая чета цыган из Петровского парка хотела взять Настю за своего сына. Предложение было очень лестное, но Яков Васильев не собирался принуждать дочь. К его удивлению, Настя согласилась сразу же. Разве мог он тогда знать, что дочери было все равно, за кого выходить, – лишь бы прочь с Живодерки, из хора, лишь бы не видеть каждый день Илью.

Примерно в те же дни, когда решался вопрос о свадьбе Насти, Илья Смоляко наконец доигрался. Допрыгался, про-

клятый кобель, добегался по ночам к мужней купчихе, долазил в потемках по чужим дворам. Муж Баташевой, который с зимы был в отъезде по делам, вернулся домой как раз в тот момент, когда Илья пробирался к любовнице. К счастью, его поймали не в спальне Баташевой, а во дворе, где приказчики купца разгружали подводы. Илью приняли за вора, началось побоище, и быть бы Смоляко если не в могиле, то наверняка в квартальной части, не подоспей на выручку цыгане во главе с Митро. Парни знали, что купец Баташев вернулся в Москву, и целый день пробегали по городу в поисках Ильи. Не найдя его нигде, они помчались на Полянку, к баташевскому дому, и успели прямо к драке. Битва закончилась победой цыган, которые, разгромив приказчиков, еще и умудрились утащить с собой избитого до потери сознания Илью. Три дня он провалялся в доме цыган-барышников на Таганке, сестра Варька неотлучно была с ним, а на четвертый день пришла и Настя. Больше ни ее, ни Смоляковых никто не видел в Москве.

Даже сейчас, семнадцать лет спустя, Яков Васильев не мог понять одного. Ведь все цыгане, все до единого, знали, что Илья бежит к русской любовнице. Значит, и Настя не была в неведении. И как же, черт возьми, она смогла прийти к нему после такого?! Как смогла простить оскорбление на пороге дома Сбежнева, как решилась убежать в табор от жениха, от уже слаженной свадьбы, от хора, от славы, гремящей на всю Москву? Убежать без копейки, без единой тряпки – в

чем была? Чем ее взял этот таборный голодранец без стыда и совести, за что Настька так любила его?

Разумеется, после исчезновения Насти грянул скандал, который подняли возмущенные цыгане из Петровского парка. Якову Васильеву пришлось выслушать кучу неприятных слов, вернуть уже полученный подарок для невесты, кольцо с бриллиантами, и все силы направить на то, чтобы сохранить приличные отношения с семьей неудавшихся сватов. Естественно, доходы хора, лишившегося в одночасье трех ведущих солистов, упали значительно. И он, хоровод, много дней ломал голову над тем, как все это исправить. Было тяжело и горько. Но сильнее всего грызла смертная обида на дочь. Ведь, господь свидетель, если бы Настька пришла к нему и сказала прямо, что хочет выйти замуж за Илью, – разве Яков Васильев смог бы помешать ей? Разве он хотел чего-нибудь, кроме Настиного счастья? Напротив – может, это бы было и к лучшему. Ведь тогда и Илья, и Варька остались бы в хоре. Но Настя решила по-своему, и Яков Васильев едва сумел тогда сдержаться и не проклясть дочь.

Не проклял. И не дал снять ее портрет в большой зале дома, написанный студентом-художником. Но больше никто из цыган не осмеливался произнести при Якове Васильеве имя его дочери. Он дал понять всем: для него Настя умерла.

С отъездом Насти и Смоляковых дела у хора пошли совсем худо. Не помогло даже то, что к осени в хор вернулась, как ни в чем не бывало, сестра Ильи Варька – повзрос-

левшая, неожиданно похорошевшая, но... во вдовьем платке. Оказалось, что в таборе Илья все-таки сумел пристроить сестру замуж за своего друга, такого же конокрада, как он сам. Но прожила замужней Варька недолго: через несколько месяцев после свадьбы ее мужа поймали на краже лошадей и забили до смерти. Оставшись вдовой, Варька решила вернуться в московский хор, и Яков Васильев вынужден был взять ее обратно: надо же кому-то петь. Но, к счастью или к беде, случилось так, что в том же году в хоре появилась Данка – пятнадцатилетняя вдова из табора, в черном платке на роскошных волосах, с лицом красавицы-ведьмы, со взрослым, усталым и подозрительным взглядом слегка раскосых глаз.

Якова Васильева сразу же насторожило то обстоятельство, что молодая вдова кочует одна, а не с родней покойного мужа. Но он постарался не думать об этом, услышав великолепный голос таборной певицы и поняв, что в хоре теперь будет достойная замена Насте. К тому же Данка сумела обзавестись новым супругом буквально на следующий день после появления в хоре: мальчишка-гитарист Кузьма, увидев красавицу цыганку, тут же сошел от нее с ума. Они переспали вместе ночь, а наутро Данка сменила вдовый платок на новый, шелковый и нарядный. Эта поспешность тоже не понравилась Якову Васильеву, но откуда ж ему было знать всю изнанку...

Данка и Смоляковы оказались из одного табора, но по-

чему-то Варька тогда скрыла подробности Данкиного прошлого, которые всплыли гораздо позже. Выяснилось, что новая певица была не вдовой, а «порченной» невестой, чья рубашка после брачной ночи осталась белее снега. Конечно же, молодой муж отказался от потаскухи-жены. Отказались от нее и родители, которым после такого позора и думать было нельзя о том, чтобы пристроить в этом же таборе других дочерей. Пятнадцатилетняя девочка, избитая и опозоренная, осталась одна на всем свете. Ей пришлось уйти из табора неведомо куда. Полгода Данка бродила по городам и деревням, пробавляясь гаданием и пением на площадях. Притворялась вдовой, чтобы встречающиеся с ней цыгане не задавали лишних вопросов. А затем, оказавшись в Москве и познакомившись на улице с хоровыми цыганами, рассудила, что в городе, где ее никто не знает, можно потихоньку начать новую жизнь. Как же Данка могла угадать, что вечером она столкнется нос к носу с Варькой, цыганкой из соседнего шатра, почти родственницей! Яков Васильев не знал, что за разговор был у молодых женщин и почему Варька никому ничего не рассказала. Уже на другой день у Данки появился новый муж, а через месяц она пела сольные партии в хоре.

Но если баба родилась шлюхой – ею она останется до конца дней своих. Уже через полгода Данка ушла на содержание к богатому купцу Сыромятникову. С ним она тоже не зажи-лась, объявившись через некоторое время в ресторане «Яр», где сразу запела моднейшие романсы, собирая вокруг себя

именитую публику. Затем Данка – к тому времени уже Дарья Степная – сбежала к какому-то графу, после графа сошлась с промышленником Курицыным, за ним последовал генерал немец Канцельберг, потом еще кто-то... Разумеется, бабу можно понять: родни нет, значит, нужно самой заботиться о себе. Конечно, Данка не могла не понимать, что через десять-пятнадцать лет, когда красота подвянет, доходы ее в хоре резко сократятся, а потом и вовсе сойдут на нет. Вот она и искала способ обеспечить свое будущее. Наверное, Данке следовало бы посочувствовать. Однако единственным, кого на самом деле жалел Яков Васильев, был гитарист Кузьма. Семнадцатилетний мальчик, безумно влюбленный в жену, так и не смог оправиться после ее ухода – начал пить, сперва понемногу, а потом все больше и чаще. Через три года начались запои, а через пять лет от Кузьмы в хоре уже не было никакого толку...

Время шло. В Москву приезжали цыгане из других городов, почти у каждого хорового была таборная родня, и волей-неволей Якову Васильеву приходилось слышать известия о дочери. Он знал, что Настя по-прежнему с Ильей, что все эти годы она жила с ним в таборе, что, слава богу, конокрадство Илья бросил, что у них один за другим рождаются дети... К тому же и Варька Смолякова, такая же неисправимая кочевница, всю весну и лето проводившая в таборе, с семьей брата, зимой непременно объявлялась в Москве и прямым ходом шла в хор, где и оставалась до конца сезона. Именно

от нее Яков Васильев узнавал новости о дочери. Варька рассказывала, что живут Настя и Илья хорошо, что Илья не обижает жену, любит детей... Знал Яков Васильев и о главном несчастье Насти: ее старшая дочь ослепла трех лет от роду. И, словно нарочно, выросла красавицей с чудесным голосом. Вот бы взглянуть, против воли размечтался старый хоровод. И на Настьку тоже. Хоть одним глазком бы посмотреть....

Из трактира донеслись аплодисменты и взрыв восхищенных возгласов. Яков Васильев догадался: отплясала Маргитка. Он посмотрел вниз, себе под ноги. Лужа у крыльца чуть поблескивала, снова затягиваясь морозной коркой. Над крышей трактира светились ледяные ноябрьские звезды. Месяц сажился за Страстной монастырь. Хоровод передернул плечами и засунул руки под мышки.

Сейчас Настьке тридцать три. И дети ее уже взрослые. А значит, того гляди, появятся внуки, которые ему будут правнуками. И правы, сто раз правы люди: всему свое время. Может быть, он, Яков Васильев, и не святой. Но и не такой грешник, чтобы помирать в одиночестве, не увидев дочери и ее детей. И даже этого зятя-кобеля, чтоб его разорвало... Что толку врать самому себе – дня не проходит, чтобы Яков Васильев не подумал о них. И, черт возьми, голоса в хор где-то же надо брать!

За спиной скрипнула дверь. Яков Васильев, не оборачиваясь, спросил:

– Маша?

– Одурил ты, старый пень? – Сестра подошла, встала рядом, кутаясь в шаль. – Час уже стоишь на холоду. Выступись насквозь, помрешь – хорони тебя, мучайся, деньги трать...

– Ничего, – скупое усмехнулся Яков. – Зато уж раз и навсегда.

– Типун тебе на язык!

Помолчали. Из трактира снова донеслась гитарная музыка, и низкий голос Митро затянул: «Не шумите, ветры буйные».

– Я слышал, Варька приехала?

– Какая Варька, Яша?

– А то не знаешь? Смолякоскири {Смолякова.}...

– Ну, приехала. У Конаковых остановилась.

– Сходи к ней завтра. Пусть придет. Надо Настьку в Москву.

Снова молчание. Глядя в землю, Яков слушал взволнованное дыхание сестры.

– Яшка, ты... это наверное решил?

– Когда я словами бросался?

Он ожидал радостного возгласа, слез, изумления. Но Мария Васильевна лишь нашла в темноте его холодную руку, поцеловала ее и без единого слова вернулась в трактир. Яков Васильев подождал, пока тяжелая дверь закроется за ней, провел ладонью по волосам, стряхивая с них иней, и пошел следом за сестрой.

ГЛАВА 1

Над Смоленском висела безлунная февральская ночь 1895 года. С темного неба огромными хлопьями валил снег. Один из узких переулочков возле конного базара оказался заметен по самым окнам. Вереница крыш скрывалась в снежной пелене, кресты крошечной церкви, все в ином, тоже были почти неразличимы. За кладбищем побрехивали от холода собаки. В переулке не было ни души, и только закутанная в шаль женская фигурка пробиралась через сугробы, прижимаясь к заборам.

Поднявшись на заваленное снегом крыльцо одного из домов, поздняя гостья долго топала мерзлыми валенками, потом забила пяткой в дверь. Но завывание вьюги напрочь заглушало этот стук, и женщина, проваливаясь по пояс в снег, побрела к светящемуся окну.

– Гей! Откройте! Спите, что ли? Илья, Настя! Ромалэ, откройте!

Внутри долго было тихо. Затем заскрежетала щеколда. Ломающийся мальчишеский басок пробурчал:

– Кого нелегкая среди ночи?..

Дверь приоткрылась, в щели показалось заспанное лицо цыганенка лет тринадцати. Он протяжно зевнул, похлопал глазами, потер кулаком лоб – и вдруг просиял улыбкой до ушей:

– О-о-о! Тетя Варя! О, задья! {Заходи.} Откуда ты? Как в такую метель добралась? Мама! Иди сюда, смотри, кто пришел!

Варька устало улыбалась, снимая с себя промокшие от снега шаль и платок. В маленьком домике поднялся переполох, застучали двери, из горницы в сени один за другим вылетали взлохмаченные мальчишки, и Варька едва успевала целовать подставленные носы и щеки.

– Уф, боже мой... Петька... Ефимка... Ванька... Да не висните вы на мне, чертенята, замучили насмерть! Илюшка, забери братьев! Где мама?

– Я здесь, Варенька, здравствуй! – Настя выбежала из-за отгораживающей угол пестрой занавески, на ходу прихватывая платком распущенные волосы. – Как же ты пришла по такой пурге? Господи, больше года тебя не было, все лето без тебя прокочевали! Как ты? Где была? Куда пропала так надолго? Илья уже с ума сходить начал!

Женщины обнялись, поцеловались. Настя зажгла свечной огарок, подбросила несколько поленьев в едва горящую печь, зашарила по полкам в поисках еды.

– Настя, я есть ничего не хочу. Самовар горячий? Давай чаю. – Варька села к столу, на котором медным боком поблескивал самовар, и в пятне света отчетливо обрисовался ее неправильный профиль с сильно выступающими вперед зубами. – Рассказывай, как вы тут. Я соскучилась – смерть! Бросила хор посреди сезона – и приехала повидаться. Где

Илья?

– Где ему быть... В кабаке, господ убажают.

– Как его дела?

– Слава богу. Вон – полна конюшня рысаков, меняет, продает. Трактир – так, для баловства. Ну, хоть Дашка с Гришкой при деле, и то хорошо. Да бог с ними, ты-то как? Ты в хоре, что ли, на год застряла?

– Вестимо, где ж еще?..

– Так рассказывай! – Настя просияла. – Как наши все? Отец, тетя Маша? Митро как? Еще сына родил, наконец?

– Какое... Уж устал с женой ругаться за это. Первым Илона ему сына выдала, а потом, видать, разленилась: косяк девок, одну за другой... Все здоровы, не беспокойся. Даже бабка Таня не помрет никак, хотя каждый день грозитя. Вот Макарьевна на Покров отдала богу душу. Помнишь Макарьевну-то? Ну, что ж, старая уже была, доскрипывала помаленьку... Наши за ней, как за родной, ходили до последнего дня. У хора дела в гору идут. Яков Васильич – молодцом, как держал всех в кулаке, так и сейчас держит. Тетя Маша внуков скоро солить будет. У одной Стешки – одиннадцать человек, а еще Аленка, Симка, Катерина стараются... Про тебя там все помнят, спрашивают.

Настя молчала. За окном пронзительно верещала вьюга, ветер бросал в стекло пригоршни снега. С полатей уже доносилось ровное сопение заснувших мальчишек. Где-то негромко стрекотал сверчок. Настя сняла заслонку с печи, и

розовые пятна света легли на пол и на Настино лицо, делая заметными неровные шрамы на левой щеке. Глядя на них, Варька украдкой вздохнула.

– Не обидишься... если спрошу, сестрица? – запнувшись, начала она. – Илья... У него... У тебя с ним сейчас все ладно? Ничего не натворил, пока меня не было?

– Конечно, ладно. – Настя вздрогнула, отвлекаясь от своих мыслей. – Почему спрашиваешь?

– Ну, всякое же было...

– Было... Было и прошло. Нет, не беспокойся, все хорошо. Если что, мне бы рассказали давно. Знаешь ведь цыганок. Так бы языки и повырывала!

– Слушай, что ты с ним в трактир не ходишь? – помолчав, спросила Варька. – Хоть бы вечерами при тебе был. И деньги лишние никому не мешают.

– Нет... Куда мне! В хорах красота нужна. – Настя слегка дотронулась до шрамов на щеке.

– Но их же и не видно почти! Да посмотри, какая ты тоненькая! Другие бабы, шестерых родивши, кадушки кадушками ходят, а ты... У тебя же ни одной морщинки нет! А царапинки эти – такой пустяк, что и говорить нечего!

– Ой, Варька, да что ж ты меня уговариваешь? – Настя тихо рассмеялась. – Что я – девчонка без женихов? У меня, слава богу, муж, дети – все хорошо. А в хоре я свое давным-давно отпела. Подожди, свежей заварки принесу.

Она встала, ушла в глубь комнаты. Варька, закусив губы,

смотрела ей вслед.

Настя вернулась с мешочком чая. Быстро взглянула на Варьку. словно прочитав ее мысли, подалась к пятну света, обеими руками раздвинув тяжелые пряди распущенных волос. В смоляно-черной массе отчетливо серебрилась седина.

– Вот, взгляни – вся белая, как ведьма! А Илье что... Знаешь, он ведь до сих пор черный, как головешка, без единого волоса седого. И бешеный такой же, как раньше, проклятый...

Варька молча пила чай. За окном голосила вьюга. Неожиданно в ее пронзительный визг вплелась дробь кулаков по обледенелой двери.

– Эй! Настька! Открой! Это мы!

– Ну, наконец-то. – Настя встала из-за стола, накидывая на плечи шаль.

Дверь открылась, впустив клуб морозного воздуха, и в горницу, на ходу сбрасывая кожух, быстро вошел Илья.

– Вот, Настька! Все ты ее учишь! – не поздоровавшись, сердито заговорил он. – Доиграемся мы до Сибири с этой девкой, на каторгу я из-за нее пойду! Родились и крестились, а такого не видали: чего удумала, господ кусать!

– Господи, что случилось? – удивилась Настя. – Пашенной опять приехал?

– Ну да! – Илья в сердцах ударил кулаком по дверному косяку. – Приехал и с компанией за полночь засиделся. Чего мы им только не пели! Потом эта чертовка во двор выверну-

лась, воздуху глотнуть, а Пашенной – за ней. Может, сказать чего хотел, а она, дура, не разобравшись, его зубами ка-ак... Выгонят ее из хора к чертовой матери! Чтоб первого купца в городе кусать – где это видано?!

– Чего ж он такого сказать хотел, – подозрительно осведомилась Настя, – что она его зубами достала?

– Не знаю, не слыхал... – остывая, буркнул Илья. Бросив кожих на гвоздь, он провел ладонью по волосам, стряхивая с них снег, шагнул в горницу – и увидел сидящую за столом сестру.

– Дэвла! {Господи.} Варька! Откуда ты?! Вот умница, что приехала! Да не обнимай меня, я мерзлый, как солонина!

Варька, словно не слыша последних слов, повисла у брата на шее. Через его плечо увидела входящих в дом старших детей. Шестнадцатилетняя Дашка, улыбаясь, снимала лисий полушубок, разматывала облепленный снегом платок. Было видно, что громы и молнии отца ничуть ее не напугали. Ее черные и чуть раскосые, как у Ильи, глаза не мигая смотрели поверх головы Варьки в дальний угол. Брат Дашки, красивый, тонкий, как девушка, мальчик, бережно стряхивал снег с футляра скрипки.

– Будь здорова, тетя Варя, – улыбаясь, сказал он, и тут же эхом повторила Дашка:

– Будь здорова, тетенька.

– Здравствуйте, маленькие. – Варька поцеловала обоих. – Ну, замерзли? Давайте-ка с нами чай пить.

Через несколько минут Илья и дети сидели за столом. Настя разлила чай в большие расписные кружки, но побыла со всеми недолго – сославшись на усталость, отправилась спать. Илья, еще сердитый, вертел в пальцах сосновую щепку, молчал. Его сын, не спеша прихлебывая чай, что-то тихо говорил сестре, и та с улыбкой слушала его. Гришка был очень похож на мать, и Варька невольно залюбовалась тонкими и правильными чертами его лица, большими черными глазами с длинными, изогнутыми, как у девочки, ресницами, густыми кудрями, еще мокрыми от растаявшего в них снега. Дашка, в отличие от брата, оказалась точной копией отца: высокие, резко очерченные скулы, нос с горбинкой, широкие, почти сросшиеся на переносице брови, крупные, красивые и ровные зубы. Ее полураспустившаяся коса лежала на плече, и на каштановых с золотым отливом прядях играл свет углей. Варька, болезненно морщась, всмотрелась в невидящие глаза Дашки.

– И ничего не поделаешь... – покосившись на сестру, глухо сказал Илья. – Поначалу-то, помнишь, мы все ждали – вдруг пройдет. Старые цыгане говорили – случается такое иногда. И по колдуньям ее таскали, и свечи в церкви ставили, и что только Настька не делала... В Ростове однажды па откуда-то приволокла, целую ночь кадил над Дашкой... А все без толку. Только недавно Настька угомонилась. Чего жилы рвать, раз уж судьба? Эх, знать бы мне тогда... Шагу бы из Смоленска не сделал! Так бы все лето на печи и про-

лежал!

– Брось. Ты-то чем виноват? Бог это сделал, а не ты.

– Ну, только богу и дела... – невесело усмехнулся Илья. – Не потащили бы мы с тобой Настьку в табор – авось ничего бы и не было.

– Ну-у, знаешь... Если бы да кабы... Всего не угадаешь. – Варька покосилась на Дашку. – Э, да ты зеваешь, девочка. Давай я спать тебя провожу. Ночь-полночь, а вы только вернулись, устали. Пойдем-ка, расскажи мне, какие вы теперь романсы в хоре поете?

Дашка поднялась. Вдвоем с Варькой они отправились в соседнюю комнату. Тут же ушел и Гришка. Илья, оставшись один, молча смотрел в стол, гонял пальцем по столешнице свою щепку. Из-за занавески, за которой спала Настя, доносилось ровное дыхание. За окном продолжала верещать вьюга, поднимая у забора белые снежные столбы. За печью скреблась полуночница-мышь.

Варька вскоре вернулась.

– Устала девочка. Только голову на подушку приклонила – сейчас заснула. А знаешь, все-таки русская кровь в ней сильно видна. Маленькая была – так не очень это проявлялось, а сейчас заметно стало.

– А говорила, на меня похожа.

– Конечно. Но на ту твою гаджи {Гаджи – нецыганка.} больше. Чудно – глаз черный, волос вьется, кожа смуглая, а все равно... И чем старше – тем виднее.

– И когда ты мне кончишь глаза колоть? Настька и та не вспоминает.

– Ну, Настька... Настька – жена, ей молчать положено. Столько лет с тобой мучается, с кобелем.

– С того раза и не было ничего.

– Да ты мне-то хоть не ври! То я не помню, как ты позапрошлой весной на две недели пропал. А потом – еще. Забыл, где я тебя тогда отыскала?

– Варька, отвяжись, добром прошу, – проворчал Илья. – Что я тебе – щенок сопливый? Как дам вот сейчас!..

– Скажите, напугал! – усмехнулась Варька и тихо вздохнула. – То-то и оно, что не щенок. Мог бы уж и угомониться. Дети взрослые.

Илья буркнул что-то невразумительное и отвернулся. Варька без улыбки смотрела на него. Помолчав, спросила:

– А кто этот Пашенной, что ты так вскидываешься?

– Купец первой гильдии, миллионщик. Почти весь город ему должен.

– Ну так что ж ты?..

– А, думаешь, он жениться собирается? Жена у него есть да детей трое уже. А Дашку – так, для забавы хочет. Я уж сто раз ему по-доброму говорил: отстаньте, мол, от девки, ваше степенство, на что она вам, слепая-то... А он рогом уперся: желаю Дашку, и все! Просто проходу нет от него! Каждую ночь в кабаке сидит, глаз с нее не сводит. Наши уже поговаривают: прячь девку, морэ{Морэ – дружеское обращение

к мужчине-цыгану. }, украдет... Он может, у него такие молодцы в приказных – чертям страшно.

– Надо уезжать, – решительно сказала Варька. – Всем уезжать, всей семье.

– А куда среди зимы-то? – кисло поинтересовался Илья. – В кочевье? На санях по снежку?..

– Зачем в кочевье? Езжай в Москву.

– Ага... Яков Васильич там меня ждет не дождется. А Настьку он вообще проклясть обещал – забыла?

– Обещать обещал, да не проклял же. И портрет ее как висел в зале, так и висит уж сколько лет. Яков Васильич снимать не позволяет. Время прошло, Илья. Забылось все давно. Да и Настьку бы ты пожалел. Скучает она.

– Это она тебе сказала? – удивленно поднял голову Илья.

– Нет. Но я же не слепая. Ты посмотри, подумай. Я тебе указывать не могу, но, по-моему, так всем лучше будет. Я в Москве с Марьей Васильевной говорила. Она считает, что можно вам приехать. Ничего не будет. К старости люди сердцем отходят, а у Якова Васильича других кровных внуков, кроме твоей оравы, нету. Подумай, Илья. И извини, я спать пойду. Третий час уже, устала как собака. Завтра поговорим.

Варька ушла. Илья некоторое время еще сидел за столом, глядя на то, как сочится каплями свечной огарок. Затем встал и дунул на огонек.

За занавеской – темно, тихо. Настя, казалось, спала, но стоило Илье скрипнуть половицей, как послышался шепот:

– Илья, ты?

– А ты кого ждешь? – буркнул он. – Подвинься. Думал – спишь давно.

– Я и сплю. – Она помолчала. – Илья, послушай... Весна на носу!..

– И что?

– Мы же все равно уедем, верно?

– Ну...

– Дашку ведь надо поскорей от Пашенного убирать, правда?

– Угу.

– Может быть... в Москву, к нашим? А?

Илья молчал, думая о том, что Варька, как всегда, оказалась права. Да-а... Хорош, нечего сказать. Старый дурак. Считал, что Настька про родню давно и думать забыла.

– Ну и что нам там делать? – все-таки заспорил он. – Мне заново торговлю открывать? Там своих кофарей полно, на Конной втиснуться некуда. Лето пропадет, табор потом не догоним... А ты куда в Москве денешься?

– А здесь куда?

Он не нашелся что ответить. Помолчав, неохотно сказал:

– Весной поглядим. Если только Пашенной до того времени не удумает ничего. Может, прочь из города Дашку отправить пока? От греха-то подальше... У нас родня в Рославле, можно бы...

Внезапно с подушки рядом донеслись странные сдавлен-

ные звуки. Испугавшись, Илья тронул Настю за руку.

– Чего ты? О, бог мой, дура... Я думал – плачешь, а ты хохочешь! Чего заливаешься-то, глупая, чего?!

– Илья... – Давясь от смеха, Настя уткнулась в его плечо. – А что, здорово сегодня Дашка Пашенного хватила?

– Тьфу, безголовая... Тут не смеяться, а плакать надо, – пробурчал Илья, чувствуя, что и его против воли тоже разбирает смех. – Это все твоя наука.

– Ничего подобного! – Настя перестала смеяться. – Знаешь... Если бы ей этот Пашенной по сердцу пришелся, я бы ее отпустила.

С минуту Илья ошарашенно молчал. А затем взвился:

– Одурела?! Что она, потаскуха?! Мою дочь к гаджу в подстилки... Белены ты объелась или пьяная?!

– А ты не кричи. Ты подумай, как она жить будет. Замуж ее из цыган никто не возьмет. Кому нужна слепая? Просидит в вековушах, а ведь хороша, таланна... Может, если бы влюбилась в этого купца, так хоть год-другой с ним в счастье прожила. Все не пустоцвет...

Илья озадаченно молчал.

– Нет, он ей не нравится, – наконец нехотя сказал он. – Сама от него бегает. Нужно ее увозить поскорей. А замуж... Ей всего-то шестнадцать. Посмотрим.

– Как скажешь, – согласилась Настя, придвигаясь к мужу и кладя голову ему на плечо.

Илья обнял ее, привлек к себе. Дождался, пока заснет, и

лишь тогда, поднявшись, вышел в темную горницу и снова сел за стол. Сна не было ни в одном глазу. За окном носилась метель, окна дрожали, в печной трубе завывал ветер, и, казалось, никогда не наступит эта проклятая весна. Илья закрыл глаза, вспоминая тот теплый послегрозовый вечер, когда он увел Настю в табор. Увел от отца, родни, поклонников, шелковых платьев, от ресторанов, романсов и славы. В одном платье и шали внакидку ушла она за ним. Семнадцать лет минуло, а кажется – вчера все было.

Правду говорят цыгане, что если у человека к двадцати годам ума нет, то и потом он не появится. Тогда, тем летом, когда Илья, одуревший от счастья, привел Настю к своим, разве знал он, что так получится? Понимая, кого взял в жены, он не вынуждал Настю гадать и побираться. Она начала делать это сама: «Не цыганка, что ли? Сумею...» И Илья не замечал дорожек от высохших слез на ее щеках.

Грех упрекать ее, Настя делала все, что могла. И, оказавшись в таборе, ни разу больше не надела туфель, как ни сокрушалась Варька: «Что ты делаешь, что делаешь, ноги изранишь, хоть не сразу, хоть понемножечку привыкала бы!..» И, схватив по утрам торбу, вслед за цыганками отправлялась в деревню, а Варька рассказывала втихомолку Илье, что Настя «просто со стыда скукоживается, жаль смотреть», протягивая руку за подаянием. И училась у Стехи гадать. И ходила в рваной кофте, как все. И жгла лицо под солнцем. И... читала купленные с лотка книги при свете костра, и рассказывала

наизусть стихи. А когда цыгане просили ее: «Настя, спой по-городскому, все просим», Настька откладывала книгу, привычным движением поправляла на плече шаль и запевала, глядя в темнеющую степь, какие-нибудь «Ночи безумные». И табор стихал, даже дети переставали визжать и носиться. Казалось, слушают даже лошади, даже ободранные, грязные цыганские псы. А он, Илья, стоял рядом с женой и раздувался от гордости, как индюк. И не обращал внимания на бурчание Варьки: «Да возвращайтесь вы в Москву, ради бога, не мучай ее». Пожалуй, только Варька и догадывалась о том, что Насте плохо в таборе. Ни цыганам, ни Илье такое и в голову не приходило. Жена всегда была весела, довольна, никогда не сердилась и не плакала – по крайней мере, на людях. А он разве мог тогда понять, почему иногда вечерами она уходит в степь и, сидя спиной к табору, все смотрит и смотрит вдаль, на садящееся солнце? Хотя, может, и догадывался в глубине души. Недаром ни разу не осмелился подойти к ней в такие минуты. Но наступала ночь, над шатрами поднималась луна, табор стихал, и Илья входил под полог, зная, что жена ждет его там, невидимая в темноте.

– Настенька...

– Я здесь...

Протянутые ему навстречу руки, смутно блестящие в потемках зубы, белки глаз, теплые волосы, губы, плечи... Как он целовал их, как сходил с ума от запаха степной полыни, как раз за разом прятал лицо между грудей Насти, умирая

от нежности, как шептал, теряя голову:

– Моя Настька... моя... моя...

Она беззвучно смеялась, обнимая его:

– Твоя, морэ, твоя... Кто отнимает?

– Пусть попробуют! Убью! Всех убью! Скажи, любишь меня? Любишь?

– Люблю, люблю...

– Не врешь?

– Глупый ты какой, господи...

Семнадцать лет прошло с тех пор, утекло, как талая вода, а Илья до сих пор не знал – правду ли она тогда говорила. Но, правду или нет, а все эти годы Настька прожила с ним в таборе, не жалуясь ни на что. Уже на второй год бродячей жизни она гадала по деревням так же лихо, как таборные, а Варька уверяла Илью, что и лучше. Насте не требовалось привлекать к себе внимание громким криком под окнами и хватанием баб за рукава. Деревенские шли к ней сами, умоляя: «Да ты постой, цыганочка, мы хоть посмотрим на тебя! Сроду такой-то красы не видывали!» И, ахая, отшатывались, когда Настя приближалась и становились отчетливо видны так и не зажившие до конца шрамы на левой щеке.

– Охти, мать-заступница, да кто ж тебя так?! У кого рука на этакую-то богородицу поднялась?..

– А у мужа, у мужа, драгоценные! – немедленно встревала в разговор Варька, старательно не замечая Настиного укоряющего взгляда. – Уж такой сатана, такой черт злющий, что

прямо беда! Бьет ее, несчастную, смертным боем, когда она ему не добудет, прямо всем табором отбирать приходится, чтоб насмерть не порешил!

– Ох, батюшки... Бедная, горе-то какое, вот судьба-то... – сокрушались крестьянки. – Угораздило же за злыдня по-пасть...

– Варька, мэ тут умарава... {Я тебя убью.} – бормотала Настя.

– Закэр муй, дылыны... {Замолчи, дура.} Вот, родимые, а вчера он ее грозился и в шатер не пустить, коли поесть да выпить ему не принесет! Пода-а-айте, за-ради Христа, нашей Настьке, чтоб она живой осталась... Хоть картошки, хоть лучку насыпьте... А маслица ни у кого нет?

Сердобольные бабы кидались по домам, и в торбу смущенной донельзя Насти летели и картошка, и масло, и хлеб, а иногда клалась и связанная курица.

А как Настя умела утешать молодых вдов, матерей, потерявших детей, молодух, мучающихся с непутевыми мужьями!.. Илья хорошо помнил один из июльских вечеров, когда среди вернувшихся из деревни цыганок он не увидел своей Насти. Варька в ответ на встревоженный вопрос брата со смехом сказала:

– Цела твоя Настька, не бойся, не украли. С самого утра у одной гаджи в избе сидит. Баба молодая, солдатка, мужа весной забрали, и сразу два сына один за другим померли. Так Настька наша сначала к ней во двор зашла водички попро-

силь, потом расспрашивать эту молодуху начала, та ей всю свою беду битый час рассказывала, ревмя ревела, потом уж и Настька вместе с ней ревела, ну а после они вдвоем водку под кислую капусту пили...

– И Настька пила?! Да рехнулась ты, что ли?!

– Не перебивай! Ну, не пила, так притворялась для-ради компании... Потом Настька ей «Лучинушку» запела, и со всей улицы...

Дальше Илья слушать не стал, отлично зная, что, стоит жене запеть, как тут же сбегается вся деревня. Выругался и пошел запалывать костер.

Настя вернулась уже после заката, зареванная, сердитая и – с пустой торбой. Посмотрев на Илью, устало проговорила:

– Ну, что я с нее возьму? В доме – дети да тараканы, и все голодные...

– Что ж ты на нее весь день убила, дура?..

– Жалко...

Илья только рукой махнул. В тот вечер ужинали добытой Варькой картошкой и салом, а утром Илью разбудил басистый женский крик:

– Эй, цыгане! Цыгане-е-е! Которая здесь у вас самая красавка? А, вот она ты! Во! Глянь! А то сбежала вечер как от холеры, даже морквы в огороде не надергала!

Илья высунул голову из шатра и увидел молодую бабу с некрасивым худым лицом, на которую Настя испуганно махала руками:

– Да на что мне, глупая, твое полотно?! Уноси обратно!

– А мне оно на что?

– Продашь! Детей накормишь! Богатая, что ли, сильно?

– Сама продай! И своих накорми! В городе вон продай да хлеба себе купи! Нешто так правильно, что ты на меня вечер столько сил-то положила? Да не бойся, мы с голоду не помрем, я к осени, как ты велела, к брату в город переберусь, не оставит небось, я у няго одна сестра...

Говоря, баба раскатывала прямо по росной траве рулон беленого плотного полотна. Из соседних шатров уже повывлезли цыгане, и растерянной Насте оставалось только принять подарок. Баба ушла в деревню размашистым мужским шагом, бодро и фальшиво напевая: «Вы не вейте, ветры буйные». Настя озадаченно мяла в руках полотно. Варька, спрятав лицо в ладони, хихикала. Цыганки переглядывались, не зная, то ли посмеяться над Настей, то ли похвалить ее. А старая Стеха одобрительно крикнула:

– А умница Настька-то форитка! {Городская.} Умеет добыть!

Так Настя и гадала: долго, часами слушая заунывные рассказы деревенских баб об их горестях, сочувственно кивая, расспрашивая, задавая вопросы, утешая, советуя. И даже не касалась ни карт, ни зеркальца для гадания, а бабы хлюпали носами, благодарили и совали в лоскутную торбу все, что находилось в доме: от яиц и картошки до отрезков ситца.

– Бог ты мой, второй год всего как добывать ходит, а такой

навар... Что ты гаджухам говоришь, дорогая?! – поражались опытные таборные гадалки, разглядывая раздутую Настину торбу.

– Ничего особенного, – честно и смущенно отвечала Настя. – Иногда и вовсе рта не открываю, они сами говорят...

Цыганки недоверчиво поджимали губы, а старая Стеха посмеивалась:

– Дуры вы, дуры! Да вы на нее гляньте! Такой богородице сам черт что угодно расскажет, лишь бы она перед ним сидела, улыбалась да глазками своими ясными в душу грешную смотрела! Не то что вы, вороны длинноносые, только каркать под окнами и выучились: «Пода-а-ай, яхонтовая, мужу на водку, а то он меня прибьет...» Ох, не прогадал Смоляко, ох не прогадал! Козырную взял!

Как и прежде, Илья уходил порой «добывать коней» и ни на что не променял бы свое лихое занятие. Настя смотрела тревожными глазами, кусала губы, но не вмешивалась: это его дела, дела мужчины. Однако недаром говорится: «Сколь веревочку ни вить, а концу быть». До самой смерти ему, Илье Смоляко, не выбросить из памяти той августовской «воробьиной» ночи, когда небо до утра вспыхивало сиреневыми зарницами, а дождь так и не собрался.

В ту ночь они с Мотькой, Варькиным мужем, залегли в овраге возле большой станицы, где отмечался престольный праздник. Все казаки, пьяным-пьяны, отплясывали на майдане, мальчишки, сторожившие коней в ночном, сбежали

посмотреть на веселье, и лошади бродили без пригляда по брюхо в росистой траве, то прячась в тумане, то вновь бесшумно появляясь из него. По небу плыла тревожная розовая луна. Зарницы вспыхивали одна за другой, в овраге беспокойно кричали птицы, со стороны станицы доносились хмельные песнопения. «Пора», – сказал Мотька, и друзья, беззвучно поднявшись, тронулись к лошадям.

Спустя семнадцать лет Илья так и не мог понять, где тогда были их уши и глаза. Ведь не в первый раз шли на лихое дело и знали: лучше сто раз осмотреться и не пойти, чем, понадеявшись на авось, пропасть. Знали: если поймают, не поведут в тюрьму, убьют сразу. Но какой-то цыганский черт отвел от них тогда удачу. И Илья понял, что дело плохо, только когда из тумана бросились к ним черные, тяжело пыхтящие тени. Казаки оказались не дураками и, заметив остановившийся на горке цыганский табор, на всякий случай легли в засаду возле лошадей.

Цыган было двое, казаков – десять, и вскоре Илья понял, что пора молиться. Им уже не давали подняться с земли, и глаза не открывались от залившей их крови, когда Илья вдруг почувствовал, что прямо на него падает что-то горячее, живое, и знакомый голос кричит: «Не трогайте, не трогайте, не бейте, люди добрые!» – «Настька, откуда?» – хотел было спросить он. Но не спросил, поняв: все равно умирает.

Он выжил. И пришел в себя на четвертые сутки. Первое, что Илья увидел, – заплаканное лицо Варьки. На ней был

черный платок.

– Мотька?..

Варька залилась слезами.

– Настя?..

Варька заревела еще пуще, и Илья, чувствуя, как сжимает судорогой горло, через силу приподнялся на локте.

– Умерла?.. – одними губами спросил он.

Но Варька, вытирая слезы, замотала головой, напилась воды из чайника и начала рассказывать.

Все цыгане, конечно, знали, что Илья и Мотька пошли за лошадьми, и табор торопился уйти подальше. Но Настька, видно, почуяла неладное и, развернув свою телегу, прямоком понеслась обратно, в овраг. Заметить это успела только Варька, и то – через полчаса. Не задумавшись, она тоже повернула лошадей и помчалась за невесткой.

Когда Варька, задыхаясь, кубарем скатилась в овраг, она сразу же увидела неподвижно лежащих на земле конокрадов и Настю. Возле них сосредоточенно совещались казаки. Варька, уверенная, что муж, брат и невестка мертвы, упала на колени и взвыла в голос, призывая на головы «убийцев окаянных» всех чертей. Казаки покорно дождались, пока Варька перестанет голосить, и с явным смущением поведали ей, что «вот эта скаженная цыганка мужика своего до последнего грудью закрывала». Прежде чем распаленные казаки сообразили, что бьют кольями и сапогами женщину, и остановились, Настя приняла на себя бог знает сколько уда-

ров и лишилась чувств, намертво вцепившись в Илью.

«И она, кажись, ишо живая, и мужик ейный тоже дышит! Так что давай мы их тебе на телегу погрузим, и скачи живо до Новочеркаска, в больницу, мы дорогу короткую покажем».

Козаки перенесли Илью и Настю в телегу. Напоследок Варька подошла к неподвижному телу Мотьки, убедилась, что ему уже ничем не помочь, вскочила на передок телеги и яростно вытянула кнутом лошадей.

Илью пообещала выходить старая Стеха, уверявшая, что, «как конокрада ни бей, все равно через неделю встанет». А его жену отвезли в больницу, и цыгане две недели ждали Настю, раскинув шатры на окраине города. Илья не уходил с больничного двора. Сидел на разбитых ступеньках, смотрел в выцветшее от жары небо и клялся богу: если Настька выживет – шагу он больше не сделает к чужим лошадям. Бог, кажется, поверил, Настька выжила. Весь табор, от мала до велика, пришел ее встречать во двор больницы. Илья чудом сумел не зажмуриться, не отшатнуться, увидев на левой щеке жены два глубоких безобразных шрама.

Понемногу эти шрамы, конечно, зажили, рваные раны превратились в темно-красные полосы, цыгане крестились и божились Насте, что их и не заметно вовсе, но всем уже было понятно: красота ушла.

Настя не плакала. Лишь молчала и молчала день за днем, выполняла привычные дела, ходила с цыганками на промысел, утешала оставшуюся бездетной вдовой Варьку. Поне-

многу успокоился и Илья. Однажды он поймал себя на мысли, что даже рад случившемуся. Теперь Настька никуда не денется от него. А то так до конца дней и дрожи: убежит с кем-нибудь, или уведут ее, или плюнет она на таборную жизнь да вернется к отцу... Все-таки тогда он еще был дурак дураком. Но слово свое Илья сдержал: за семнадцать лет больше ни разу не прикоснулся к чужим лошадям.

Зимовать, как обычно, поехали в Смоленск. Осели в знакомой слободе, где их давно принимали на зимние месяцы. Настя, зажив привычной оседлой жизнью, казалось, повеселела, снова начала распевать романсы, даже раздобыла где-то гитару, и по вечерам в их дом набивался весь табор. И тут снова бес подстелил свой хвост, на который Илья и наступил со всего маху. Хвостом этим стала Лукерья, самая обычная уличная девка, на которую Илья, может, и не взглянул бы никогда, не окажись она так похожа на московскую купчиху Баташеву. На Лизу, которую он никогда не любил, но в памяти до сих пор почему-то стояли серые глаза, светло-русые косы, белое полное тело, грудь, руки... Полгода в Москве Илья лазил к Баташевой под одеяло, полгода слушал, как она клянется ему в любви, целовал ее, тискал теплую тяжелую грудь, прижимал к себе смеющуюся и плачущую женщину... И, встретив в смоленском переулке отчаянно похожую на Лизу проститутку, пошел за ней не задумываясь.

И надо же было, чтобы именно с ним все это случилось! Словно он один из табора ходил в тот распроклятый домик в

окраинном переулке. Половина цыган втихую бегала туда. И Илья тогда мог бы побожиться, что Настька ничего не знала. Так бы все и было шито-крыто, не реши Лушка выкинуть фортель, объявив Илье, что она беременна. Илья забеспокоился:

– Вытрави. Я денег дам.

– Поздно, не буду.

– Ну и дура, – заявил Илья уже из-за двери. И больше не приходил.

Первое время он боялся, что Лушка станет бегать за ним и требовать денег, но она не появлялась. А когда стало ясно, что Настя ждет ребенка, Илья и думать забыл о веселой девице. Как и все бабы в таборе, Настя до последнего прятала свой живот, опасаясь сглаза, и Илья узнал о ее беременности только на пятом месяце.

Настя родила Гришку в апреле, промучившись трое суток и чудом оставшись в живых. Она сумела подняться с постели лишь через месяц, ходила бледная, осунувшаяся, все валилось у нее из рук, и Илья быстро понял: о том, чтобы догонять табор, уже пустившийся в кочевье, сейчас не может быть и речи. Всю весну они просидели в Смоленске. Илья крутился на конном базаре, Варька бегала гадать, Настя возилась с сыном и кое-как управлялась по хозяйству. А в конце мая в доме появилась Дашка. Корзинку с месячной девочкой подбросили к крыльцу дома Ильи, записка в одеяле гласила: «Крещена Дарьей. Простите, люди добрые, самой есть

нечего». И отреститья от ребенка Илья не мог: даже сын не был так похож на него, как эта полурусская малышка. Настя не сказала ему ни слова. А Варька, обозвав сквозь зубы бесстыжим кобелем, зло бросила: «Молись, чтобы Настя теперь в Москву не сбежала». Он молчал: что было отвечать?

Ночью Илья не спал. Лежал рядом с Настей, притворялся, что дремлет, из-под полуопущенных век следил, как жена то и дело встает с постели, подходит то к одному, то к другому младенцу, греет на лучине рожки с молоком, делает соску из тряпки с хлебом. Уже под утро, когда за окном совсем стихли шорохи, а Дашка с Гришкой заснули накрепко, Илья спросил:

– Уедешь теперь?

– Куда ехать? – помолчав, чуть слышно отозвалась она. – Дети...

Больше он не стал ни о чем спрашивать. Еще и порадовался по молодости и глупости, что не пришлось каяться перед женой, да еще в том, что другим всегда сходило с рук. До рассвета они промолчали. Позже Илья пожалел об этом, поняв, что не так должен был повести себя.

Через две недели они догнали табор. И снова начались дороги, ярмарки и базары, снова – конные рынки, лошади, упряжь, магарыч по кабакам, снова – теплые ночи, догорающие угли, луна, падающая за реку, Настин голос: «Ах, разлетелись-раскачались...» Она опять начала петь по вечерам, улыбалась, когда Илья вступал вторым голосом, и ему даже

стало казаться, что жена все-таки простила его.

Илья боялся, что Настя невзлюбит Дашку, но этот страх прошел после того, как Варька потихоньку рассказала ему, как она – бездетная – просила Настю отдать ей младенца. Настя отказалась наотрез, не тронувшись даже Варькиными слезами, а та плакала нечасто. Дашка росла здоровой, рано встала на ножки, темный пух на ее головке сменился каштановыми кольцами, черные глазки весело светились, а вопила она втрое громче Гришки, обещая стать хорошей певицей и завидной невестой. И стала бы, видит бог, не случись того душного грозового лета тринадцать лет назад.

Табор тащился по кубанской степи на ярмарку в Ростов. В воздухе над дорогой с утра до позднего вечера висело желтое марево, от жары шатались даже лошади, собаки и вовсе отказывались идти, укладываясь в горячую пыль и свешивая на сторону языки. Табор растянулся вдоль дороги, как рассыпавшиеся далеко друг от друга бусины, цыгане уже не могли ни петь, ни разговаривать, а только тарачились мутными от духоты глазами вперед, ожидая остановки. А впереди, как назло, не попадалось ни реки, ни прудика.

Настя лежала в телеге вместе с детьми. Варька брела позади. И она, и Илья, сидящий с вожжами в руках, с тревогой посматривали на крохотное круглое облачко, выплывшее из-за горизонта. Другие цыгане тоже косились на этот темный шарик, зная – к добру такие облака не появляются.

Облако близилось, росло и на глазах наливалось черно-

той. Стихло все, даже степные чирки перестали сновать через дорогу. Куда-то исчезли слепни и мухи, замерла выгоревшая трава. На огромном каштане, торчащем, как свеча, посередине степи, не шевелилось ни листочка. Дед Корча озабоченно задрал к небу седую бороду и коротко скомандовал.

– Тэрден! {Стойте!}

Через минуту цыгане накидывали на головы фыркающих лошадей мешки и одеяла. Женщины привязывали к себе маленьких детей, собаки, рассевшись в пыли, хором выли, и никаким криком нельзя было заставить их умолкнуть. Бледная Настя примостилась возле телеги, прижимая к себе спящего Гришку и вертящуюся Дашку. Илья, ругаясь, накидывал на голову норовистой саврасой кобылы рваное одеяло. Варька помогала брату.

– Илья, это буря, да? – услышал он последний вопрос жены.

Ответить Илья не успел: порыв ветра вырвал из его рук одеяло, кобыла, захрапев, рванулась в сторону, ее ржание перекрылось Варькиным визгом, и стало темно.

От ветра полегла трава. По дороге понеслись сухие комки перекатипполя, цыганские тряпки, верещащий от страха щенок. Все это мгновенно исчезало во вздыбленных клубках пыли. Черное небо сверху донизу распорол голубая вспышка, грохнуло так, что цыгане попадали на землю, и тут же полило как из ведра.

Илье приходилось и раньше встречаться с ураганами в

степи, но такого, как этот, он не видел ни разу. Люди держались, вцепившись друг в друга, и Илья едва смог разжать руки Насти, чтобы взять у нее детей: «Дай мне, я сильнее! Не вырвет!» А она, словно обезумев, мотала головой и прижимала к себе оружие комки. Во вспышках молний Илья видел искаженное от страха лицо жены с прилипшими к нему волосами. Сквозь вой ветра едва доносился голос Варьки: «Илья, кони! Боже мой, кони!» Он не пытался ответить, и так зная, что лошади разбежались. Стоял на коленях, держась за наспех вколоченную в землю жердь, прижимал к себе Настю и детей, отворачивался от хлещущих струй дождя. Ветер уже не выл, а ревел, старый каштан трещал и гнулся, как пруттик, по земле бежали потоки воды. Илья, спохватившись, что их телега стоит почти под самым деревом, попытался отойти в сторону, но ветер не давал сделать ни шагу. Стиснув зубы, Илья попробовал еще раз... и в этот миг наступил конец света. По крайней мере, так показалось Илье, когда он увидел расступившиеся в сумрачном свете тучи с рваными краями и синий сверкающий столб, разделивший небо. Никогда в жизни он не видал такой молнии. Табор осветило как днем, над телегами поднялся дружный вой, даже мужчины орали от страха. От грохота содрогнулась степь, сияющий комок ударил в старый каштан, тот вспыхнул, как щепка, раскаляясь надвое, и Илья отлетел в сторону. Гришка вывалился у него из-под рубахи – Настя едва успела поймать катящийся комок. Следом полыхнуло еще несколько молний, и в их

свете Илья увидел остановившиеся глаза трехлетней дочери, которыми она не моргая смотрела на пылающий каштан.

Через полчаса все прекратилось. Ураган унесся в сторону реки, небо очистилось, старый каштан уже не горел, а дымился, солнце осветило переломанные телеги, разбросанные шатры и перепуганных насмерть людей. Цыгане поднимались один за другим, первым делом пересчитывали детей, затем начинали крутить головами в поисках улетевшего добра, крестились, спрашивали друг друга – все ли целы? Телег, на которых можно было бы ехать, не осталось ни у кого; люди, слава богу, почти не пострадали, только кривого Пашку ударило жердью от шатра да у одной из цыганок оказалась сломана рука, попавшая под колесо. Дорога наполнилась охами, вздохами, причитаниями, ревом детей. Цыгане разбрелись по степи в поисках разбежавшихся коней, женщины собирали вещи и остатки шатров. И никто уже не ждал большего несчастья, когда вдруг над полем пронесся дикий крик. Вопила Варька, упав на колени и вцепившись обеими руками в растрепанные волосы. Тут же к ней сбежались все. Молча, со страхом уставились на бледную Настю. У той по лицу катились слезы. Держа за плечи дочь, она хрипло просила:

– Доченька, чяери{Девочка.}, посмотри на меня... Дашенька, пожалуйста, посмотри... Изумрудная, брильянтовая, посмотри на меня...

Дашка удивленно улыбалась. Ее остановившиеся глаза смотрели, не моргая, через голову матери в синее, словно

умытое небо.

Настя теперь плакала не переставая. Днем, ночью, сидя в телеге, стоя на ярмарочной площади, лежа рядом с Ильей в шатре. Плакала, не вытирая слез, и Илья не знал, что ей сказать. У него самого при виде неподвижных Дашкиных глаз что-то сжалось в горле и не отпускало несколько дней, мешая дышать и говорить. Не отпускало до тех пор, пока через неделю, ночью, лежа рядом с женой и слушая, как она беззвучно давится рыданиями, он не спросил:

– Хочешь, вернемся в Москву? На землю сядем? Слово даю, сядем!

Бог свидетель, согласишься тогда Настышка, он бы сдержал свое слово. И вообще что угодно сделал бы, лишь бы Настышке полегчало, лишь бы прекратились эти молчаливые слезы с утра до ночи, лишь бы хоть немного осветилось ее почерневшее, застывшее лицо. Но Настя только покачала головой. Хрипло, не глядя на мужа, сказала:

– Зачем? Я привыкла... Да и зима уже скоро. До зимы еще было добрых четыре месяца, но Илья настаивать не стал. Кое-как докочевали до первого снега, вернулись в Смоленск, и всю зиму Настя таскала дочь по докторам. Илье прежде и в голову не приходило, что на этих живодеров можно ухлопать столько денег. Но он давал не споря, сам надеясь на любое, пусть даже самое дорогое чудо. Однако смоленские доктора только разводили руками. Не помогли и знахарки, и молебны в церкви, и Настины молитвы, и даже Варькино ночное бе-

ганье гольшом, в вывернутой овчине на голове, вокруг дома – крайнее, самое надежное средство. Дашка больше никогда не видела солнца. Через три года Настя окончательно смирилась с этим, и тратиться на врачей перестали.

Время шло. Проходил год за годом, и каждую весну они неизменно трогались в путь. Один за другим рождались дети, пять человек – и все мальчишки. Настя сама учила их грамоте и счету, а старшего, Гришку, даже отдала в Смоленске учиться играть на скрипке. Конечно, это ученье продлилось недолго – конец осени да зиму, до тех пор, пока не тронулись снова кочевать. Но скрипка уже накрепко застряла в Гришкиных ручонках, и Илья, мечтавший пустить старшего сына по своим стопам, быстро понял: толку на конном рынке из мальчишки не будет. С возрастом он стал похож на мать: худенький, глазастый, с тонкими руками. Хорошо пел, хотя Настя и сердилась, говоря, что до тринадцати лет – пока не начнет ломаться голос – учиться петь ему не нужно. Серьезное личико мальчика оживлялось лишь тогда, когда Гришка брал скрипку. И чего только не вытворяла она в его руках! Старый смоленский еврей выучил его правильно держать смычок, а дальше Гришка старался сам, играя по слуху что придется. Из Смоленска он вывез заунывные еврейские мелодии; в Кишиневе с утра до ночи пропадал у заезжих румын, перенимая их дребезжащие напевы; в Ростове часами простаивал около театра, принося домой обрывки «Лебединого озера» и «Аиды»; на ярмарке в Новочеркасске высмотр-

рел турецкую плясунью Джамиллу и вечером уже наигрывал тягучую азиатскую песню. Настя радовалась, глядя на сына, Илья пожимал плечами.

Дашка тоже росла, и к двенадцати ее годам стало ясно, что она будет красавицей. Илья, любуясь дочерью, только диву давался: всем она напоминала его – и смуглотой, и густыми бровями, и глазами, черными, чуть раскосыми, с голубоватым белком, и высокой линией скул, и губами, и носом... но Дашка была хороша. То ли Лушкина кровь смягчила цыганские черты, то ли бог решил так пошутить. Голос у Дашки прорезался рано; едва научившись говорить, она, картавя, повторяла за Настей: «Пала гнедых, запряженных с залею...» А в пять лет дочь, повергнув Илью в немалое изумление, первый раз попросила:

– Возьми меня на Конную...

– Зачем, чяери? Иди вон матери помоги...

– Нет. Хочу с тобой.

Он взял – забавы ради. Все равно Гришка сроду не просил его об этом, а остальные мальчишки еще были слишком малы. И с тех пор Дашка ходила за отцом как пришитая. Поделовому, захватив кнут, шла с ним на Конную площадь; сидела под столом в трактире, пока Илья распивал с покупателями магарыч; цеплялась за его штаны, когда он отправлялся потолковать с цыганами о делах. Насте это не нравилось.

– Зачем ее на Конную таскаешь? Место разве ей там? Она – девочка, пусть хоть петь учится, хоть гадать. Ты еще верхом

на лошадь ее посади и кнут в руки дай!

– И дам! – отшучивался он. – Хоть дело в руках будет, с голоду не пропадет!

– Ее же замуж никто... – начинала Настя и... обрывала себя.

Было очевидно, что замуж Дашка не выйдет. Ни таборным, ни городским не нужна слепая жена. И поэтому Дашка делала что хотела, бродя за отцом как тень и занимаясь тем, чем цыганская девчонка вовсе не должна была интересоваться.

И в кочевье Дашка тоже ходила за Ильей как хвост. Весной, когда табор трогался из города, она неизменно шла рядом с отцом, отказываясь ехать в телеге, полной мальчишек, лихо шлепала босыми ногами по еще холодной грязи, держалась за рукав отца или край телеги, улыбалась, глядя неподвижными глазами на умытое солнце, и из нее сыпались вопросы: «Давдо{Отец.}, а как же другие люди летом в домах живут? Разве им не плохо, не душно? А почему не все цыгане кочуют? А зачем ты маму из Москвы увез? Почему ее за тебя отдали?»

Он смеялся, отвечал, неожиданно рассказывая такое, о чем, казалось, давно забыл, о чем не говорил Насте, чего не знала даже Варька. Иногда напевал какую-нибудь долеую песню, и Дашка почти сразу же вступала вторым голосом. Голос у нее оказался как у Варьки – низкий, грудной. Она хорошо пела и романсы, которым учила ее Настя, и без тру-

да тянула «Лучинушку» или «Уж как пал туман». Но стоило ей завести глубоко и сильно: «Ай, доля мири{Моя.} несчастно...» – и у Ильи сердце замирало. В такие минуты он всегда думал о матери, которой никогда не видел. Но вот табор становился на ночь посреди степи, Дашка тут же пристраивалась к старой Стехе и вела с ней долгие беседы вполголоса. Другие девчонки смеялись и брызгались водой у реки, ломались перед парнями, с вплетенными в волосы ромашками плясали у углей, а Дашка даже не подходила к ровесницам. Тихо сидела рядом со стариками, напевала песни, слушала Стехины сказки. К четырнадцати годам она знала их великое множество. И иногда, вечером, в таборе вдруг случалось чудо: куда-то разом пропадали все дети. Впрочем, толпа мелюзги очень быстро обнаруживалась возле палатки Ильи Смоляко, где возле костра сидела Дашка и, глядя неподвижными глазами в розовое от заката небо, рассказывала сказку. Да так, что подошедшие от нечего делать взрослые долго не могли отойти, слушая так же зачарованно, как и детвора, и потом крутили от удивления головами, недоумевая – откуда она только такое знает? Где набралась этого? И так Дашка сказочничала до тех пор, пока зимой, в Смоленске, ее пение не услышал друг Ильи, цыган из трактирного хора.

– Что ж ты, морэ, девчонку дома держишь? Совесть у тебя есть? Да в хоре ее на руках носить будут!

Илье подобная мысль и в голову не приходила. Но хорошика неожиданно поддержала Настя, за ней и Варька заго-

лосила, что девочка сможет заработать денег для семьи. Потом вдруг запросился в хор и Гришка со своей скрипкой. Илье оставалось лишь пожать плечами. Но отпустить Дашку в хор одну или даже с Гришкой он побоялся, хорошо помня, в какие неприятности может там вляпаться молодая цыганка. Пришлось самому тряхнуть стариной, настроить гитару и отправиться с детьми в трактир. Смеха ради он позвал и Настю:

– Пошли, а? Покажешь там, где рай на земле! Она промолчала, вся потемнев. И с запоздалым сожалением Илья понял, что не стоило так шутить.

Хозяин трактира, горбатый еврей Симон, был рад до смерти. Еще бы, усмехался про себя Илья, ведь с того дня, как в трактирном хоре появилась семья Смоляковых, доходы Симона выросли вдвое. Полгорода стало приходиться слушать голос слепой девочки, гитару ее отца и скрипку брата. Сам Илья почти не пел – если только нужно было помочь Дашке. Почему-то стоило запеть – и вспоминались далекие годы: Москва, ресторан в Грузинах, совсем молодая Настя и та, сероглазая, светловолосая, чужая, которой не забыл за столько лет. На сердце делалось тяжело, и песня не шла...

И вот теперь пожалуйста: Варька с ее советами... Поезжайте, мол, в Москву. Настышка, видите ли, скучает. Кто ее знает, может, и правда... Столько лет никого из своих не видела. Ни разу за эти годы они не встречались с цыганами из хора Якова Васильева. Только Варька, почти каждую зи-

му отправлявшаяся в Москву, привозила оттуда ворох новостей. Родня слала приветы и звала в гости. Илья делал вид, что ничего не слышит, Настя молчала. А вот теперь...

Илья встал, подошел к окну. На дворе было темно, хоть выколи глаза, вьюга не успокаивалась, швыряла в окна комья снега, выла в печной трубе. Илья стоял у окна, прижавшись лбом к заиндевевшему стеклу, и смотрел в темноту.

За спиной слышались тихие шаги. Не оглядываясь, он понял – Варька. Теплая рука легла на его плечо.

– Что ты, пхэнори? {Сестренка.}

– Ничего. Ступай спать. Утро вечера мудренее.

ГЛАВА 2

Апрельское солнце заливало Москву золотом. Вся Рогожская застава сияла куполами церквей, ручьями, бегущими по мостовым, лужами у порогов лавок, сусальным кренделем над булочной и окнами низеньких деревянных домишек. Здесь, в Москве, лишь недавно сошел снег и высохли улицы. Таганка была полна гуляющим народом, отовсюду слышались песни, смех, завывание гармони. В лужах гомонили воробьи, с крестов церквей хрипло орали вороны. По мостовой стучали копыта лошадей, грохотали пролетки. Неожиданно из Гончарного переулка с громом и треском, как колесница Ильи-пророка, вынеслась огромная ломовая телега.

– Дорогу! Эй, дорогу, проклятуш-шие!!!

Грохот, брань, свист кнута, обезумевшие лошадиные морды с выкаченными глазами, пьяная, красная рожа возчика – и стоящая у церкви толпа цыган с криками бросилась врассыпную.

– Холера тебя раздери! – выругался Илья вслед ломовику, ставя на ноги Дашку, которую едва успел выдернуть из-под копыт. – Варька! Вот она, твоя Москва! А врала – «обер-полицмейстер новый, порядок навел»! Где он, порядок?

– Весна... – Варька, шлепнувшаяся в лужу, с кряхтеньем отжимала край юбки. – Все с ума посходили.

– Вы целы? Живы? – встревоженно спросила с другой сто-

роны улицы Настя. Взобравшись на ступеньки булочной, она торопливо, по головам, пересчитывала детей: – Четыре... пять... шесть... Все! Илья, пошли дальше!

«Ишь, раскомандовалась, – неприязненно подумал он, беря за руку Дашку. – Конечно, ей чего... Домой приехала. Светится вся, будто луну съела, вертит головой, как девчонка, любит на церкви, показывает сыновьям: «Вон Вознесения Христова храм. А в этом доме купец Прохоров жил, мы ему каждое Рождество пели. А по этой улице на тройках зимой катались!» И ведь помнит все, чертова баба, как будто только вчера отсюда уехала...»

До Москвы они добирались с табором, и Настя, как всегда, была в широкой ситцевой юбке и полинявшей старой кофте. Босые ноги, облепленные дорожной, уже подсыхающей грязью, уверенно шагали по тротуару.

Утром, перед тем как покинуть палатку, Илья осторожно поинтересовался, не хочет ли жена надеть городское платье, а таборные тряпки припрятать пока. Настя посмотрела на него с искренним изумлением, задумалась на минуту, грустно улыбнулась своим мыслям и спросила:

– А лицо я куда спрячу?

Илья так и не понял, что она имела в виду: шрамы на левой щеке или темный, не сошедший за зиму степной загар. Но переспрашивать благоразумно не стал.

Через час они будут в Грузинах. И что там? Как встретят? Примут ли? Илья сам не ожидал, что будет так бояться

встречи с жениной родней. Особенно с Яковом Васильевым. Варька рассказывала – отошел сердцем старик... Дай бог, конечно, если так, а вдруг нет? Ох, что будет... Думать не хочется! Илья в сотый раз напоминал себе, что ему, Смоляко, уже не двадцать лет, а, слава богу, тридцать семь, что он не мальчишка, а всеми уважаемый цыган со своими лошадьми, с огромной семьей, что, наконец, у него самого скоро будут внуки – но ничего не помогало. Решив, что в случае чего они в тот же день уедут из Москвы – и тогда уже никакие Настькины слезы не помогут! – Илья немного успокоился.

Позади осталось сонное купеческое Замоскворечье, сверкающая витринами модных магазинов Тверская, шумная, запруженная извозчиками Садовая, и впереди мелькнули кресты церкви Великомученика Георгия в Грузинах. Начались знакомые места. Илья даже забыл о своей тревоге и, как Настька, завертел головой, вспоминая. Вот трактир «Молдавия», самый «цыганский» в Москве, куда они всем хором заваливались после рабочих ночей в ресторане – пить чай и наливки да хвастаться доходом. Вот Живодерка, такая же узкая и грязная, без мостовой, с лужами вдоль домов, с курами и поросятами, роющимся в пыли. Вот развалюха Маслишина, которая прежде вся была забита студенческой братией. Маслишинский дом еще больше осел на одну сторону, покосился, облез до дранки, но из распахнутых настежь окон доносится молодой басок, нараспев декламирующий что-то на нерусском языке. Видно, по-прежнему Маслишин жиру-

ет на студентах... Ага, а это заведение мадам Данаи – стоит себе, не падает, и вывеска на дверях та же, зеленая, хоть и полинявшая малость. Бог ты мой, а вот и хозяйка! Сидит перед крыльцом на старом стуле и вяжет, суетливо двигая спицами, у ног ее две девицы увлеченно разбирают клубки. А сразу за заведением – Большой дом.

И здесь все по-прежнему. Те же деревянные, облезлые, когда-то голубые стены, покосившееся крыльцо с некрашеными, потемневшими от дождя перилами, сирень в палисаднике, те же распахнутые окна с геранью на подоконниках и с кружевными занавесками. Илья, помедлив, ударил кулаком в запертую дверь.

Та открылась быстро, и на порог вышла девушка. Длинные косы растрепаны, поверх кое-как застегнутого платья наброшена шаль: очевидно, девчонка недавно проснулась. Под мышкой она держала отчаянно сучащую ногами кошку.

– Здравствуйте, ромалэ. Вы к кому? – сухогато спросила девушка, подняв взгляд на пришедших.

Илья тихо охнул и сделал шаг назад. От внезапного страха вспотела спина. Отчетливо и ясно, словно это было вчера, встал перед глазами солнечный день Масленицы семнадцать лет назад, темная кухня Макарьевны, он, Варька и Настя, молча сидящие по углам, сгорбившийся за столом Митро с опущенной на кулаки головой, а из-за стены – бабий шепот, топот ног, низкие хриплые стоны Ольги, красавицы Ольги – первой жены Митро. Она умерла тогда от родов, но... Разве

это не Ольга стоит перед ним сейчас? Высокая и тонкая, с матово-смуглым лицом, тонким носом с горбинкой, тяжелыми косами, густыми бровями... И смотрит так же, как тогда, вот только... глаза почему-то зеленые. Зеленые, как трава в болоте.

– Чяери, чья ты? – едва сумел выговорить он.

– Я – арапоскири... – Девчонка тоже не сводила с него глаз, лицо ее стало испуганным.

– Маргитка! – выручила Варька, выглянув из-за спины Ильи. – Своих не узнаешь? Я это, тетка Варя! Зови отца, мать, теток зови! Кричи – Смоляковы приехали!

Девчонка кинулась в дом, бросив кошку. Та прыснула в кусты сирени. Илья, приходя в себя, шумно вздохнул и помотал головой.

– Варька, так это что же... Митро дочка?

– М-гм... – вздохнула Варька. – Почти. Это же Маргитка. Забыл, что ли? Ольги и Рябова дочь. Ты же ее двух дней от роду на руках носил.

– Бог ты мой, – ошеломленно пробормотал Илья.

Варька потянула его за рукав, и он, неловко споткнувшись на пороге, вошел за ней в дом. Сразу же из сеней они попали в большую нижнюю залу, у окна которой, как и семнадцать лет назад, стоял величественный рояль. С первого взгляда Илье показалось, что тут и не изменилось ничего. Тот же продавленный диван с потертым на подлокотниках бархатом, ряд стульев у стены, гитары, висящие на стенах с

выгоревшими обоями. Вот только портрета над роялем раньше не было... С полотна на Илью смотрела молодая Настя в своем белом платье, чинно сидящая в кресле. Глаза, темные и большие, полные слез, глядели в упор; казалось, вот-вот по смуглой щеке пробежит прозрачная капля.

– Смотри... – тихо сказал Илья, оборачиваясь к жене.

– Вижу, – отозвалась Настя. И добавила вполголоса что-то еще, но этих слов Илья уже не услышал, потому что по всему дому захлопали двери, а по лестницам застучали каблуки.

«Смоляковы! Настя! Илья! Варька!» – доносилось отовсюду. Из дверей, с лестниц в залу вбегали цыгане – молодые, незнакомые. Стоя у порога, Илья молча смотрел на их удивленные лица. Все – чужие, словно не в тот дом попал. Неужто никого из прежних не осталось?

– Ага-а! – вдруг зарокотало с лестницы, и Илья, повернувшись, увидел массивную и весьма внушительную фигуру в красном повойнике и шали, торжественно спускающуюся по ступенькам. Те жалобно скрипели от каждого шага.

– Явджиды, ромны {Будь здорова, женщина.}, – с некоторой опаской сказал Илья.

– Илья! Голодранец таборный! Ты что, меня – меня! – не признаешь?! – раздался негодующий визг. И только по этому воплю Илья узнал Стешку Дмитриеву, первую на всю Живодерку скандалистку, которую он помнил худющей, как тарань, и вообще-то терпеть не мог. Обрадовавшись хотя бы одному знакомому лицу, Илья шагнул было к ней, но в ком-

нате внезапно сделалось тихо. Смолкли, как один, даже дети, и стало отчетливо слышно чириканье воробьев на улице. Илья почувствовал, как пальцы Варьки сжимают его локоть. Он медленно, уже зная, в чем дело, обернулся.

Толпа цыган расступилась. К гостям не спеша, спокойно вышел седой цыган. Его невысокая фигура была по-молодому стройной, подтянутой. Острые черные глаза из-под сдвинутых бровей напрямую уткнулись в лицо Ильи.

– Явился? – не повышая голоса, спросил цыган.

– Яков Васильич... – тихо проговорил Илья. И – словно не было всех этих лет, словно не шел ему самому четвертый десяток и не его семеро детей жались за спиной. Он снова почувствовал себя двадцатилетним щенком, до смерти боявшимся хоревода. Спас его короткий вздох за спиной.

– Даво! – со слезами, отчаянно выкрикнула Настя.

Илья не успел удержать жену – она кинулась к отцу, упала на колени и прижалась к его сапогам. Толпа цыган ахнула. Кто-то отчетливо хлопнул носом. За спиной Ильи прочувствованно высморкалась Варька. Лицо Якова Васильева стало растерянным.

– Настька... Сдурела? – севшим голосом сказал он. С трудом нагнулся, пытаясь поднять дочь, и по этому нескладному движению Илья заметил, как он все-таки постарел. Настя поднялась, цепляясь за руку отца, тот взял в ладони ее лицо – и вдруг сморщился, как от острой боли. Илья понял: увидел шрамы.

– Что это. – Сузившиеся глаза хоревода уперлись в лицо Ильи. – Твоя работа, сукин сын?!

– Нет. – Он постарался ответить спокойно, но голос все-таки дрогнул. Илья отвел взгляд, уставившись через плечо Якова Васильева на портрет. Отрешенно подумал: все, сейчас выгонит.

Яков Васильев посмотрел на дочь. Скользнул глазами по кучке внуков за спиной Ильи, задержался на неподвижном личике Дашки. Мельком глянул на бледную Варьку. Потер пальцами подбородок. Медленно, словно нехотя выговорил:

– Ну, что же... Здравствуйте, что ли.

Ответить Илья не успел. Его вдруг хлопнули по спине так, что он чудом не полетел на пол, раздался радостный рев, и прямо в лицо Илье оскалилась белозубая, узкоглазая, до слез знакомая физиономия.

– Смоляко! Морэ! Ты или нет? Глазам не верю!

– Арапо-о-о! – завопил Илья, разом забыв про Якова Васильева. – Будь здоров, дорогой! Довелось-таки свидеться! Как же ты...

Договорить он не смог, потому что как раз в эту минуту с лестницы наконец спустилась Стешка. Барахтаясь в ее мощных объятиях, Илья сумел только пропыхтеть:

– Да кто ж тебя, сестрица, откормил-то так на мою погибель?..

К вечеру Большой дом на Живодерке был битком набит цыганами. Новость о приезде семьи Смоляковых разлетелась по Москве в мгновение ока, и уже через час в дом Васильевых начали сходитья давние друзья. Помимо цыган, в комнату набились соседи с Живодерки, те, кто семнадцать лет назад знал Настю Васильеву и Илюху Смолякова. Явились владелец доходного дома Маслишин, бакалейщик Прокофьич, старый и седой как лунь сапожник Федька и Даяна Тихоновна, хозяйка публичного дома, давно бывшая в Большом доме своим человеком. С ней пришла племянница Анютка, хрупкая беленькая девочка лет пятнадцати, тут же пересевшая к молодым цыганкам и оживленно застрекотавшая с ними. Цыгане сидели за столом, на диване, на стульях, на подоконниках и даже на полу, зала звенела от разговоров, смеха и звуков струн. На улице уже темнело, ветви сирени с едва пробившимися молодыми листочками лезли в открытое окно, пахло свежестью. Жена Митро зажгла керосиновые лампы, и по потолку задвигались тени. Сидя за столом вместе с цыганами, Илья смотрел, как Илона величественно движется по комнате от одной лампы к другой. В ней было добрых шесть пудов веса, в волосах, гладко убранных под платок, блестели седые нити, но похожие на вишни глаза живо и весело блестели из-под изогнутых бровей.

– Ну как, не жалеешь, что жену из болгар взял? – усмехнувшись, спросил Илья у сидящего рядом Митро. – Дурак, сказал бы мне, что на кочевой цыганке хочешь жениться, я бы тебе табун из своего табора привел...

– Да иди ты, морэ! – смеясь, отмахивался Митро.

Илье казалось, что друг почти не изменился за эти годы. Несмотря на сорок пять лет, седины в буйных кудрях Арапо было мало, лишь прибавилось морщин на лбу да голос звучал тверже. Варька говорила, что заправляет в хоре теперь Митро. Яков Васильич все реже и реже выезжал с хором в ресторан, а шумные пьянки ночь напролет «на фатерах» у офицеров и купцов и вовсе были ему не под силу.

Хор Якова Васильева сильно помолодел. В солистах сейчас ходили сыновья и дочери тех, с кем Илья когда-то пел в ресторане. Из прежних остались только Стешка, бывшая теперь не столько певицей, сколько конвоиром при своих пяти дочерях, да братья Конаковы, поседевшие, но по-прежнему считающиеся лучшими гитаристами Москвы. Илья уже успел услышать, что Зина Хрустальная, королева жестокого романса, так и не вернулась в хор, оставшись содержанкой графа Воронина и родив ему шестерых детей, и что совсем недавно граф все-таки женился на ней. Гришку Дмитриева десять лет назад зарезал, стащив с собственной жены, купец Расторгуев. Сестра Митро, хорошенькая плясунья Аленка, вышла замуж за сибирского золотопромышленника, проездом оказавшегося в Москве и упавшего к ее ногам, и укатила

с мужем в Нерчинск. Другую сестру, Любку, сосватали цыгане из Петровского парка, и она пела в «Яре». Дядя Вася окончательно спился и не появлялся не только в ресторане, но даже на Конном рынке, усевшись на шею дочери. Гашка, удачно попавшая на содержание к богатому купцу Рахимбаеву, умудрялась кормить отца, бабушку и еще пять нищих цыганских семей, внезапно оказавшихся ее родней. В ресторане теперь блистали дочери Шешки, дуэт брата и сестры Конаковых-младших, причем Федька еще и чудесно играл на гитаре, а его сестра Анфиса мастерски отплясывала «венгерку». Старшие дочери Митро тоже стали прекрасными плясуньями, а сын Яшка уже был известен всей Москве как хороший гитарист и редкой красоты баритон.

– Кузьма-то где? – Илья уже все глаза проглядел, высматривая старого друга среди цыган. – Не ушел он от тебя?

– Куда ему идти... Явится, подожди. Я его сам четвертый день не вижу. Пьет где-нибудь на Сухаревке.

– А ты почему разрешаешь?

– Что мне – пороть его? Чай, не мальчишка он уже? Ведь тоже четвертый десяток разменял, а ума все нету. И из-за кого все, дэвла?! – вдруг взорвался Митро, ударив кулаком по столу. Подпрыгнувшие стаканы жалобно звенькнули, цыгане обернулись, но Митро не заметил этого.

– Ни за грош пропал, понимаешь? Ни за медную копейку! Из-за потаскухи! Из-за шалавы переулошной, чтоб ей без попа сдохнуть! Столько лет прошло, а он все успокоиться не

может. Сколько я ему баб приводил, каких цыганочек показывал... Все не слава богу, так и живет бобылем... А эта лахудра в «Яре» поет! Ладно хоть совести хватило сюда не заявляться! После Кузьмы у ней кого только не было, уж пробы ставить негде, а еще цыганка! Таборная, чтоб ей околеть!

Илья только вздохнул. К счастью, в углу запела Настя, и Митро тут же замолчал, подавшись вперед и жадно вслушиваясь в песню. Это была «Не вечерняя», которую семнадцать лет назад Настя запевала в хоре. Илья тоже повернулся на голос. Жена, сидя на диване рядом с отцом и Марьей Васильевной, перебирала струны маленькой «краснощековки» с узким грифом. И не так уж громко пела Настя, но в комнате разом стихли все звуки.

– Ах, да вы подэнти, – вполголоса вступил вторым голосом Митро.

Илья тут же опасливо взглянул на хоревода, и действительно, Яков Васильич нахмурился. Но ничего не сказал и чуть погодя запел сам красивым, чуть вздрагивающим баритоном:

– Вы подэнти мангэ {Подайте мне.}, братцы,

– Тройку мангэ серо-пегих... – не сговариваясь, подхватили Стешка, Илона и Симка Конакова. А затем прорвало остальных, цыгане один за другим вступили в песню, и по комнате поплыла мощная волна теноров, басов, баритонов, альтов и звонкого сопрано. Последнее, к изумлению Ильи, принадлежало Анютке, племяннице мадам Данаи.

Ах, да не вечерняя,
Не вечерняя ли ты, заря,
Спотухала, боже мой, заря...

Слушая песню, Илья думал о том, что эту «Не вечернюю» в цыганских хорах кто только не исполнял. Он сам слышал ее не однажды от разных певиц. И ведь неплохо пели. Но так, как Настька, не выводила ни одна. Кто еще мог вести мелодию так тихо и вместе с тем сильно, так нежно и чисто, будто не песня это, а капли росы на степной траве, будто не цыганка поет, а ветер гуляет в озерных камышах, жаворонок заливается где-то под облаками... Откуда только это в ней? И не ушло, не погасло за столько лет. И по цыганам видно, что певицы лучше Настьки в хоре больше не было. Илья посмотрел на жену, сидящую среди женщин. Она так и не сняла ни таборной юбки, ни заплатанной кофты, в которых утром пришла в Большой дом. И выгоревший от солнца платок по-прежнему на ее волосах. И на загорелом, уже успевшем обветриться в пути лице нет улыбки. Настя была среди этих городских, затянутых в шелковые и бархатные платья певиц, как ромашка в букете южных роз. И все равно лучше всех, с ожесточением подумал Илья. Ни одна из этих бутербродниц пятки ее босой не стоит!

– Ах, господи ты наш дорогой и все угодники... – протяжно вздохнул Митро, когда песня кончилась и смеющиеся цыгане обступили Настю. – Ты-то что не пел, Смоляко?

Надоела тебе, что ли, Настыка за столько лет? Ну, кто сейчас так сможет, скажи мне?

– Что – голосов в хоре нет? – удивился Илья.

– Да есть, сам ведь слышишь... Стешкина Наталья, Федька Трофимов, мои девки кое-как воют... Вон, Анютку Данаину слышал? Голосок у девки серебряный, в церковном хоре поет по праздникам, а к нам не идет. Яков Васильич звал, а она смеется. Позориться, говорит, только. Нет, голоса-то, морэ, имеются, да все не то. И потом – слышал бы ты, что они сейчас поют, Смоляко! – вдруг с досадой вырвалось у Митро.

Илья непонимающе посмотрел на него.

– Помнишь, что мы-то пели? Романсы, песни старинные, красивые... Помню, как заведем с Настыкой «Не забудь меня вдали» на два голоса – господу разум теряли! А вы с Варькой разве «Отойди, не гляди» не пели? От тебя разве с ума не сходили? Как вспомню «Твои глаза бездонные»... А сейчас что? Куплеты какие-то, песенки дурацкие, ни голоса не покажешь, ни ноты высокой не возьмешь. Ей-богу, позор один! И публика другая пошла. Раньше, помнишь, графья-князья ездили, купцы именитые. А сейчас поналезет в ресторан рвань всякая, рассядется, как царский сват, «беленькими» машет и требует «Гулял я, мальчик, по Адессе»... Тьфу! Измельчали господу-то. Вон, к моей Маргитке, знаешь, кто ездит? Сенька Паровоз!

– Кто такой? Купец?

– Если бы... – вздохнул Митро. – Мазурик. Первый вор на всю Москву. Выглядит-то, конечно, барином и деньги большие привозит, мы потому и не препятствуем...

Илья посмотрел на Маргитку. Та с самого начала вечера сидела в углу, забравшись с ногами в большое кресло и держа на коленях гитару, струн которой иногда небрежно касалась. На полу возле кресла пристроился Яшка – пятнадцатилетний сын Митро, очень похожий на отца по-татарски узким разрезом глаз. Изредка парень что-то сердито говорил сестре, но Маргитка не обращала на него никакого внимания, продолжая баловаться на гитарных струнах. Лицо ее было задумчивым, глаза смотрели в открытое окно, и впервые за вечер Илья мог внимательно рассмотреть приемную дочь Митро.

Темное, почти кофейное лицо Маргитки поражало неправильностью черт: широкие, как у мужчины, брови, нос с горбинкой, крупные, слегка вывернутые губы, будто она держала в них горошину. Но зато глаза, глаза... Большие, недобрые, зеленые, и реснички до половины щеки. Цвет глаз – от отца, взгляд – от матери, подумал Илья, снова вспомнив Ольгу. Красавицей та была, что и говорить. Правда, он, Илья, тогда умирал по Настьке. Да и старше его Ольга была лет на пять... «А эта моложе на двадцать... Ошалел ты, что ли, морэ?» – испуганно одернул сам себя Илья. Как раз в этот миг Маргитка отвернулась от окна и в упор посмотрела на него. В ее взгляде не было ни удивления, ни смущения, и она

не торопилась отводить глаза. Это пришлось сделать Илье. Однако с характером девчонка...

– Это ты ее по-болгарски назвал? – спросил он у Митро.

Тот усмехнулся:

– Илона. Мы-то, помнишь, не то что назвать – окрестить ее никак не могли. Все недосуг как-то было, чяери и чяери... А когда я Илонку в дом привел, она только взглянула и сразу – Маргитка! Имя-то не наше, красивое – прилипло сразу, как родилась с ним! Окрестили Марьей, а у цыган так и осталось – Маргитка. Даром что саму Илонку все давно Еленой Степановной зовут, а о том, что она из болгар, и думать забыли. Она и наших детей всех по-русски назвала, жить-то, говорит, им здесь...

– Н-да-а... – Илья снова покосился на Маргитку, которая продолжала без стеснения разглядывать его из своего кресла. – Ну, хороша, конечно, девка... Выдавай поскорей, а то украдут.

– Украдут... – хмыкнул Митро. – На другой день обратно вернут да еще миллион дадут в придачу – заберите, ради Христа...

– С норовом?

– Не то слово... И в кого только? Одно ладно – пляшет хорошо. В ресторане господя просто в остолбенение впадают, бумажки ей под ноги мечут, а она, чертова кукла, прямо по деньгам и жарит: «Наступи-раздави...» Да ладно, что о ней, своей-то дочерью похвались! Варька говорила, она поет

хорошо.

– Послушай, коль охота есть, – с напускным безразличием сказал Илья. – Эй! Дашка! Иди сюда!

Дашка подошла, держась за руку брата: в незнакомом доме ей трудно было передвигаться без помощи.

– Спой, чяери, – велел Илья.

Гришка придвинул сестре стул, сам встал за ее спиной, поднял скрипку. Илья жестом попросил гитару, и Митро передал ему свою. Дашка села на стул, расправила юбку. И запела, не дожидаясь тишины в комнате. Тишина эта наступила при первых же низких, тоскующих нотах. В комнате не было человека, который бы не обернулся и не застыл, изумленно глядя в безжизненное лицо певицы. А когда вторым голосом вступил Илья, в комнате стало слышно, как тикают старые стенные часы.

– Тумэ, ромалэ... {Вы, цыгане.} – вздохом начинала Дашка.

– Тумэ, добры люди... – вторил Илья.

И дальше – вдвоем, переплетаясь голосами и слушая, как бьется в тесные стены родившаяся на воле песня:

Ай, пожалейте тумэ душу мою...

Ай, все богатство мое заберите,

Возвратите тумэ годы мои.

Песню эту сложил Илья и до сих пор не понимал, как она у него вышла. Вроде бы отродясь песнями не занимался... По-

лучилось это как-то само, в один из ветреных осенних дней, когда они с Дашкой возвращались из города, с конного базара, в свой табор, стоящий на окраине. Идти было недалеко, но Дашка, устав, присела отдохнуть прямо на обочине дороги. Над скошенным полем плыли низкие тучи, накрапывал мелкий дождик, дорога блестела залитыми водой колеями. В небе треугольником летели журавли. Задрав голову и вслушиваясь в их тоскливое курлыканье, Илья даже не сразу услышал, что дочь в который раз о чем-то тихо спрашивает его.

– Что ты, чяери?

– Я спрашиваю – моя мама русская была красивая?

Илья молчал, пораженный. До сих пор он был уверен: Дашка не знает, что Настька ей не мать. Значит, цыганки, эти сороки, уже напели девчонке...

– Она была красивая? – повторила Дашка.

– Да, – глухо сказал он. – Очень красивая.

По спине пробежал мороз: Илья представить себе не мог, что отвечать, если Дашке вздумается продолжить расспросы о своей матери. Кто знает, что девчонке наболтали... И ведь не прикажешь замолчать, не оборвешь: не твое, мол, дело. К счастью, Дашка больше ничего не спросила. А он, отчаянно боясь, что дочь вот-вот заговорит снова, начал что-то напевать. И очень удивился, когда обнаружил, что Дашка подтягивает ему.

– Чяери, что это ты поешь?

– Что ты поешь, то и я.

– А... я что пою?

– Не знаю...

В табор они вернулись затемно. Встревоженная Настя убежала им навстречу из шатра и замерла от изумления: отец с дочерью шли по раскисшей дороге держась за руки и в два голоса заливались соловьями на все поле:

Тумэ, ромалэ, тумэ, добры люди,
Возвратите тумэ годы мои...

Так и получилась песня, которую через неделю запели все цыгане в таборе. Скоро никто уже и не помнил, что ее придумали Илья Смоляко с дочерью. Зимой Дашка пела ее в трактире, и всякий раз при звуках низкого, тяжелого голоса у Ильи сжималось сердце.

Песня кончилась. В комнате повисло молчание. Мельком Илья заметил расширенные глаза Яшки из-за грифа гитары. Но тут Дашка пожала плечами, улыбнулась, и зал взорвался восторженными голосами. Все цыгане кинулись к столу, но Илья видел лишь Якова Васильева, который не спеша поднялся с дивана и через всю комнату пошел к ним. Лицо старого хоревода, как обычно, ничего не выражало. На Илью он даже не взглянул и сразу нагнулся к Дашке.

– Откуда песню взяла, девочка?

– Дадо сложил, – слабо улыбнувшись, ответила Дашка.

Яков Васильев поднял глаза на Илью. С минуту они смотрели друг на друга. И снова Илья не выдержал первым. Глядя в пол, услышал, как отрывистый голос старого цыгана спросил:

– Не врет она? Это твоя песня?

– Она никогда не врет, – не поднимая глаз, сказал Илья.

– Мгм... В хоре не хочешь девочку оставить?

– Нет. – Ответ прозвучал излишне резко, и Илья поспешил оправдаться: – Она слепая, Яков Васильич, без меня никуда не ходит...

– А тебе-то кто не дает?

Илья молчал. Яков Васильич, по-прежнему глядя на Дашку, сказал:

– Завтра, коль охота есть, и езжайте с нами. Где заночуете, решил уже?

– Нет...

– Оставайтесь в доме, во втором этаже две комнаты пустые.

Сказал – и сразу отошел, а Илье достался счастливый взгляд Насти с дивана и ободряющий хлопок по спине от Митро:

– Видал?! Дочь благодари: отошел Яков Васильич! Я, грешным делом, думал, что ни в жизнь тебя за Настьку не простит.

Илья молчал. Гладил по волосам прижавшуюся к нему Дашку, смотрел в смеющиеся лица цыган. И вздрогнул

вдруг: из кресла в углу его по-прежнему в упор разглядывала дочь Ольги.

Угомонились далеко за полночь. Гости разошлись, сонные обитатели дома разбрелись по своим комнатам. Настя с детьми ушла наверх, Дашку увела к себе Маргитка. В нижней комнате остались только Илья и Митро. В раскрытое окно лезли ветви сирени. Илья, сидя на подоконнике, смотрел на пустую улицу.

Слава богу – кончился день. К вечеру уже голова лопалась от шумливых приветствий, песен и одних и тех же разговоров: как вы, что вы, да как Настька столько лет в таборе, да как Илья не додумался раньше вернуться... Тьфу. Будто своих дел у людей нет. И каждая цыганка не поленилась поинтересоваться: откуда у Настьки шрамы на лице? И каждый цыган спросил украдкой: твоя работа, морэ? Черти любопытные, все им знать надо: и что было, и чего не было... Хорошо хоть, Яков Васильич из дома не вышвырнул. А хотел ведь, старый черт, по глазам было видать... Спасибо Дашке. Спела так, что у старика сердце вывернуло. Илья машинально осмотрелся, ища взглядом дочь, но вовремя вспомнил, что та ушла с Маргиткой.

Вот и Маргитка... Что это девчонка смотрела на него так? Наслушалась небось о нем от цыганок всякого, вот теперь и тарашится. Те, сороки, сбрешут – недорого возьмут... Но до чего же хороша, проклятая! На Ольгу похожа, и все-таки другая. А взгляд недобрый – так и режет. Настоящий черт

зеленоглазый, а не девка. И видно, что никакой на нее упрасы нет. Илья невольно пожалел о том, что не увидел сегодня Маргиткиной пляски: как назло, куда-то выбегал из комнаты, когда девчонка вышла на круг... Ну да еще будет случай. Илья покосился на Митро. Тот сидел на продавленном диване, дымил трубкой, посматривал в окно, словно ожидая чего-то. Поймав взгляд Ильи, устало сказал:

– Иди спать, морэ.

– А сам чего сидишь?

Митро пожал плечами, что-то проворчал и вдруг резко поднялся с дивана. В сенях хлопнула дверь, что-то упало, зазвенело, посыпалось. Пьяный голос длинно и грязно выругался. Затем послышалась песня: «Эх, черные очи да белая гру-удь... до самой зари мне покоя не даду-ут...» Митро швырнул трубку на стол и, не обращая внимания на рассыпавшиеся по скатерти искры, пошел к двери. Илья быстро затушил огоньки пальцами. Ничего не понимая, двинулся следом.

В сенях было хоть глаз выколи. Митро приоткрыл дверь на кухню, из-за нее пробился свет лампы, и Илья увидел что-то черное и взъерошенное, держащееся обеими руками за стену. Существо мотало лохматой головой и монотонно материлось, потом снова запело про черные очи.

– Явился чертов сын на мою голову... – тихо выругался Митро. Обернувшись к Илье, буркнул: – Дружок твой – любуйся.

Илья не смог ничего сказать. Конечно, семнадцать лет – срок большой, все они уже не те, что были, и Кузьма тоже... но увидеть такое он не ожидал. В памяти его оставался веселый, юркий мальчишка, гораздый на вранье и выдумки, во-врующийся на Тишинке пироги и пряники и потом угощающий ими всю улицу, не знающий, что такое печаль. А это...

– И ведь не сильно он пьяный-то, – вполголоса проговорил Митро. – Больше прикидывается. Завтра проспится – весь день от меня прятаться будет. И за какой грех мне это, а? Не племянник, а каторга бессрочная! Ничего поделывать с ним не могу, ничего! Хорошо, хоть Варька твоя приехала! Он, кроме нее, никого не слушает, паршивец...

Как раз в тот момент Кузьма оставил в покое стену и повернулся. Илья увидел черные, затянутые мутной пленкой глаза, один из которых был здорово подбит. Рубаха спереди испачкана и залита вином, в углу рта темнела спекшаяся кровь. Мутный взгляд уткнулся в Митро.

– Ну... что смотришь, Трофимыч? Вот, пришел... Бить хочешь, что ли?

Глянув в лицо Митро, Илья забеспокоился, что к тому и идет. Но тот сдержался, пробурчав сквозь зубы:

– Не мешало бы... Только тебе, я вижу, и так уж навешали. Где был?

Кузьма молчал.

– Где был, спрашиваю? – повысил голос Митро. – На Хитровке?

– Ну и хоть бы...

– Хоть бы! Сколько раз тебе говорено – пей около дома! На Хитровке тебя, дурака, зарежут когда-нибудь! Да не бойся ты, не трону. На кой ляд ты мне сдался... Иди ложись спать.

– Иду. – Кузьма опустил голову, помотал ею. Илье показалось, что он и в самом деле не так уж пьян. – Трофимыч...

– Чего тебе еще?

– Варька... Варвара Григорьевна... что ли, приехала?

– Приехала, – глухо ответил Митро. И вдруг сорвался, заорал: – Иди спать, сукин сын, чтоб тебе света не дожидаться! Висельник чердачный нераскаянный! Доведешь ты меня, холера, до преступления!

– Не ори, – сказал Кузьма. – Я и так иду.

Он перешагнул порог кухни, шатаясь, дошел до печи, навзничь повалился на покрытые старым ковром нары и сразу же захрапел. Митро в сердцах сплюнул. Илья, глядя в стену, подавленно молчал.

– А ты чего встал? – накинулся вдруг и на него Митро. – Проваливай и ты тоже, и чтоб не видел я вас никого до утра! Чума проклятушая на всю мою жизнь!

Илья, искоса взглянув на него, вышел. Он не сердился, самому хотелось орать и ругаться. Настроение испортилось окончательно. Он прошел через нижнюю комнату, поднялся по лестнице на второй этаж, где было темным-темно, и... замер, услышав голос Насти. Она с кем-то разговаривала, стоя

в дверях комнаты, и Илья невольно прислушался.

– Нет. Правда, нет. Это не Илья, а гаджэ { Не цыгане. }. Тогда, в овраге. Я в самую драку кинулась, по лицу и зацепили. Ты что, мне не веришь? Дадо! Когда я тебе врала?!

– Не знаю. – Черный силуэт шевельнулся совсем рядом, и Илья сделал шаг назад, узнав Якова Васильева. – Только сдается мне, его это все-таки работа. И раньше бешеный был, и сейчас не лучше.

– Да что ж такое, отец! Я правду говорю! – От возмущения Настя заговорила громко, и Илья отчетливо слышал каждое слово. – Ну, бог с тобой, если родной дочери не веришь, спроси Варьку, она знает!

– Варька ему сестра, она что хочешь подтвердит.

– Таборных спроси! Все видели! Может, мне детьми своими забожиться?! Я забожусь! Если уж до того дошло, что ты мне без этого не веришь...

– Не трудись. И спрашивать я никого не буду. Ваши дела, ты ему жена. Если понравилось к колесу привязанной по грязи бегать – на здоровье. Но до сих пор не пойму, для чего... – Яков Васильев понизил голос, и больше Илья ничего не слышал. Да больше и не надо было.

Он закрыл глаза, прислонившись к невидимой стене. Сердце стучало так, что отдавало в голову. «Зачем приехали только? – с горечью подумал Илья, садясь в темноте на пол. – Зачем приехали? Быть беде».

В маленькой комнате на втором этаже горела зеленая лампа. Ее слабый огонек освещал старый комод с рядом фарфоровых безделушек на крышке, гитару с узким «женским» грифом в углу, букет полуувядших роз в вазе синего хрусталя, рядом с цветами – целую башню растрепанных романов: «Роковая страсть», «Любовь графа Шевалли», «Жестокая красавица», «Любовь и гибель маркизы Анны»... Дашка, сидящая возле стола, поглаживала пальцами корешки книг, наугад клала их одну на другую. Маргитка, стоя к ней спиной, взбивала подушки на постели так, что пух летел метелью. У порога сидел на полу, обхватив руками гитару, Яшка. Он отчаянно зевал, но не уходил.

– Будешь спать здесь, со мной, – выпрямляясь, сказала Маргитка. – А то, если хочешь, на сундук ложись, но с него свалиться запросто можно...

– Нет. Я с тобой лучше.

– Только я иногда ночью во сне разговариваю. Не боишься?

– Не боюсь.

– Ты красиво пела сегодня. Меня научишь?

– Конечно. Ты сразу схватишь.

Дашка встала, ошупью нашла край постели. Коса девушки наполовину распустилась, на подушку упала тяжелая кашта-

новая прядь, и Яшка жадно уставился на нее. Маргитка, проследив за взглядом брата, скривила гримасу, но промолчала.

– Кто тебя так хорошо плясать выучил? – помолчав, спросила Дашка.

– Вот дура! Как же ты решила, что хорошо, если ты слепая?! – прыснула Маргитка.

– Я чечетки по звуку разбираю, – спокойно пояснила Дашка, и почти одновременно с ней рявкнул на сестру Яшка:

– Погавкаешь ты у меня, зараза! Косы повыдеру! Распустила язык...

– Пошел к черту! – огрызнулась Маргитка. – Чего расселся, чего уставился? Влюбился, что ли? Иди спи к лешему, золотой мой, нечего на девок пялиться! Скажи спасибо, что она слепая, а то бы давно тебе по морде за твои взгляды съездила!

Яшка покраснел так, что видно было даже в полутьме. Кинул уничтожающий взгляд на сестру, быстро встал и вышел, задев гитарой за косяк. Когда смолк жалобный звук потревоженных струн, Дашка тихо спросила:

– Зачем ты так? Он же не хотел...

– Затем, что нечего из себя правительство здесь строить. Моложе меня на два года почти, а туда же, генеральствует! – Маргитка стянула платье; перекинув на грудь растрепанные косы, начала расплетать их. – Тебе раздеться помочь?

– Нет, я сама. Я привыкла.

Маргитка пожала плечами. Оставшись в одной рубашке,

забралась на постель, потянула за руку и Дашку.

– С нашими девками ты уже говорила? Наболтали тебе про меня?

Дашка не успела ответить, а Маргитка враждебно предупредила:

– Будешь Катьку Трофимову слушать – ко мне лучше и не подходи! Врагиня она моя навсегда!

– Катька? Почему? Мне показалось, она хорошая, добрая...

– Добрая... Много ты понимаешь. Я с ней перед Пасхой знаешь как подралась! Грех, конечно, в Великий пост, но уж душа не стерпела. Она, зараза, сказала, что моя мама – шлюха!

– Господи... – Дашка забралась под одеяло. – Но это же ерунда какая-то. Елена Степановна...

– Она мне не мать, – таинственно сказала Маргитка. – Моя мама знаешь кто? Отца первая жена. Она меня от купца Рябова прижила и, когда рожала, померла. Знаешь, какая она красивая была? Лучше даже, чем я, ей-богу! У отца портрет маленький есть. Вот подожди, я у него стащу и тебе покажу.

– Зачем тащить, попросить же можно.

– Не... Отец думает, что о нем не знает никто. Под замком в шкафу держит. Вот посмотришь сама... Ох, да ты же слепая! – Маргитка задумалась, закинув руки за голову и водя пальцем по пятну света на стене. Дашка молчала. Где-то в глубине дома часы пробили полночь, с улицы простучала

одинокая пролетка.

– Дашка, вот что скажи... Твой отец, Илья, – он кто?

– Цыган.

– Да уж сама видела, что не турок! – Маргитка снова села на кровати. – Скажи, то, что про него болтают, – это правда?

– Кто болтает? И что?

– Цыгане, – в тон Дашке язвительно ответила Маргитка. – Разное болтают. Правда, что он твоей матери лицо ножом из ревности изрезал? Чтобы больше не смотрел на нее никто?

– Я спать хочу.

Маргитка с досадой замолчала. Через минуту, потянувшись, вполголоса протянула:

– А он красивый, твой отец.

Дашка молчала – кажется, в самом деле заснула. Маргитка вздохнула, села поудобнее. Придвинула к себе лампу и растрепанную «Любовь графа Шевалли». Раскрыв книгу на середине, углубилась в чтение.

ГЛАВА 3

На другой день Илья проснулся поздно. Открыв глаза, испуганно осмотрелся, долго не мог понять, где находится. Потом вспомнил: Москва, Большой дом... В окно заглядывала сухая ветка ветлы, и Илья сообразил, что это старая комната Насти. В ней, видать, так никто и не жил все семнадцать лет.

Настя рядом еще спала, сбросив с себя одеяло и улыбаясь во сне. Губы ее чуть заметно шевелились. «Небось до сих пор «Не вечернюю» поет», – с легкой досадой подумал Илья. Встав и заглянув в соседнюю комнату, он убедился, что мальчишек и след простыл. На минуту он заволновался – где Дашка? – но затем вспомнил, что та ночует с дочерью Митро, успокоился и начал одеваться.

Внизу, несмотря на позднее утро, не было ни души. Илья помнил: по утрам здесь всегда отсыпались после рабочей ночи в ресторане и выползали уже после полудня – растрепанные, кое-как одетые и сонные. Не было даже слышно грохота котелков и сковородок. Однако дверь на кухню оказалась приоткрыта. Ежась от утреннего холодка, Илья перешел темные сени, заглянул туда... и отступил.

На широких нарах, застеленных красным, протертым до основы ковром, сидела Варька, а на полу примостился Кузьма, уткнувшийся в ее колени. Варька, наклонившись, гладила его всклокоченную голову, что-то шептала. Они не заме-

тили Ильи, который тихо отошел в сени, огляделся и, увидев на полу сброшенное ночью Кузьмой ведро, как можно громче повесил его обратно на гвоздь. Звон разнесся по всему дому, а Илья, не понижая голоса, чертыхнулся. Когда спустя минуту он, зевая, вошел на кухню, Варька стояла спиной к нему у окна, а Кузьма, сгорбившись, сидел на нарах. На нем была вчерашняя, запачканная и залитая вином рубаха явно с чужого плеча. В вырезе виднелся потемневший крест на медной цепочке. Ссадина под глазом набухла до густой синевы. Во встрепанных волосах отчетливо блестели белые нити. На вошедшего Илью он взглянул исподлобья и тотчас же опустил глаза. Помедлив, протянул руку.

– Будь здоров, морэ. Вспомнил нас, надумал наконец приехать?

– Здравствуй, – откликнулся Илья и присел рядом.

Варька по-прежнему стояла у окна, Кузьма смотрел в пол и молчал, словно они расстались с Ильей вчера, а не семнадцать лет назад. Илья уже пожалел о том, что вошел на кухню, и собирался уйти, когда Кузьма вдруг заговорил:

– Ты вчера с Митро был иль показалось мне?

– Ну, я.

– Угу... – Кузьма еще ниже опустил голову. – Ладно, морэ, чего отворачиваешься? А то я не знаю, что ты думаешь. Что все вы думаете... Вот, мол, сидит тут пьянь подзаборная... Ума нет, совести тоже, один кабак в голове...

– Ума нет – это верно, – буркнул Илья. Кузьма, не слушая,

продолжал:

– Думаешь – из-за бабы цыган сломался... – Он криво усмехнулся, поскреб руками волосы. – Что ж, я спорить не буду. Только, может, из-за такой бабы и не грех?

Илья промолчал. Он плохо помнил Данку, которую видел последний раз давным-давно, еще в таборе, на той проклятой свадьбе. Да, красивая была... Может, и сейчас что-то от ее красоты осталось, за тридцать ей теперь. Конечно, красивая, но уж никак не лучше, например, Настьки. Да и другие есть не хуже. Однако вслух он говорить этого не стал и буркнул только:

– Ни одна из них того не стоит.

– Ну, не тебе говорить, не мне слушать, – проворчал Кузьма. – Помню я, что ты из-за Настьки творил.

– Так, морэ, мне двадцать лет было... – растерялся Илья.

– А мне, когда Данка ушла, – семнадцать. Да не об том разговор... – Кузьма, поморщившись, потер кулаком лоб. – Господи, похмелиться, что ли?

– Похмелялся уж, – не оборачиваясь, бросила Варька.

Кузьма искоса взглянул на нее и отвернулся к стене. Через минуту глухо сказал:

– Говоришь – ни одна из них того не стоит? Да нет, морэ, такая – стоит. Я ее девчонкой сопливой взял, и она уже тогда, в пятнадцать лет, красавицей была. И ведь хорошо могли бы жить. Вот душой клянусь – до сих пор не пойму, почему она убежала!

Илья уже знал и чувствовал, что ничем хорошим этот разговор не кончится. А Кузьме, казалось, было все равно, слушают его или нет.

– Наши ругались, говорили – за большой деньгой повелась... Шут ее знает, может, и верно. Хотя и я на нее не жалел, в золоте ходила, в шелку... Наши-то после того, как Данка сбежала, и здороваться с ней перестали, на улице встретят – на другой тротуар переходят, вот как. А я... мне... Да бог ты мой, я у «Яра» все ночи просиживал, чтобы только посмотреть на нее! – вдруг вырвалось у Кузьмы с исступлением.

Илья уже привстал было, чтобы уйти, не выдумывая причины, но Варька от окна сделала ему отчаянный знак, и он опустился на место.

– Только взглянуть! Как будто она не жена моя! Как будто не цыганка, а царица небесная! Каждую ночь смотрел, как она с господами в тройки садится... Выть хотелось, а я смотрел, потому что... – Кузьма махнул рукой, смешался и хрипло закончил: – Потому что будь она неладна, эта жизнь...

Илья молча смотрел в стену.

– А сейчас и этого нет. Сейчас она – барыня. В Крестовоздвиженском живет, своим домом. Про меня, знамо дело, и не думает. У «Яра» сколько раз нос к носу сталкивались – мимо проходила. И ведь в самом деле не узнавала, не притворялась! Посмотрит, как на голое место, и дальше себе идет, стерва такая! С Навроцким этим шестой год живет,

чтоб его...

– Замуж за гаджа вышла? – удивился Илья.

– Нет, так живет. Нужна она ему – замуж... Он ведь, лепешка кобыля, подошвы ее не стоит! Картежник, шулер, вся Москва его знает, в долгах с головы до ног. Как подумаю об этом – в глазах темно! Вот, ей-богу, напьюсь как-нибудь и убью...

– Данку?

– Навроцкого... Ее – нет. Ее не смогу. Раньше хотел, но... – На скулах Кузьмы задергались комки. – Если бы она с ним хоть хорошо жила, Илья! Да ведь ему деньги ее нужны, золотишко, больше ничего! Все про это знают, и она тоже, а вот поди ж ты...

– Так, может, и слава богу, морэ, а? – осторожно сказал Илья. – Бросит он ее, она и...

– Что, думаешь, ко мне вернется? – Кузьма хрипло рассмеялся, не поднимая глаз. – И что увидит? Вот это, на что ты сейчас смотришь? Да не смотришь даже, отворачиваешься, чтоб не стошнило... А вы ведь с Варькой знали, морэ... – Голос Кузьмы вдруг потяжелел. – Ты ведь про нее все знал, верно? Вы же почти родня, кочевали вместе. Мне уж потом цыгане рассказали, что никакая она не вдова была, а просто потаскуха, ее муж сразу после свадьбы вышвырнул. Ты ведь знал?

– Откуда, рехнулся ты, что ли?! – не сдержавшись, заорал Илья. – Я же еще до ее свадьбы из Москвы уехал! И потом

носа моего тут не было!

– Пусть так... а сестра вот твоя знала. У нее на глазах все было. Могла бы и сказать по-родственному. Глядишь, по-другому бы жизнь моя сложилась. – Впервые за весь разговор Кузьма повернулся к Илье. Нехорошо, жестко усмехнулся. – Я понимаю... Вы, конечно, таборные, концы друг у друга хороните, но... могла бы и сказать твоя сестра.

Илья молчал.

– Так что, Илья, думай себе что хочешь, но не тебе меня судить. Вроде ничем ты меня не лучше – а повезло в жизни кругом. За жену твою весь хор девок отдать не жалко. Детей твоих еще не видал, но, говорят, хорошие. А раз так... Сытый голодного не разумеет.

Кузьма поднялся, вышел. Хлопнула дверь в сенях. Илья сидел на нарах, глядя в пол. Сзади к нему подошла Варька.

– Ты... ты, пожалуйста, не сердись на него, – сдавленно проговорила она, и Илья понял, что сестра плачет. – Стыдно ему, а показать не хочет, вот и кидается на людей. На меня вон утром тоже орал...

– Угу... А ты ему сопли вытирала, вместо того чтоб по морде надавать. Видел я.

– Да брось... Он о тебе сколько раз вспоминал, все ждал, что встретитесь, а ты его вон каким вчера увидел... Думаешь, ему сейчас хорошо? Не сердись, Илья.

– Много чести, – мрачно сказал Илья, отворачиваясь к окну. – Ну надо ж так... Столько лет, дэвлалэ! Из-за курвы!

И прав Кузьма, между прочим! Рассказала бы ты ему тогда, кто она, Данка-то, авось не случилось бы ничего. Кого пожалела, дура?!

Всхлипнув, Варька зарыдала в голос. Растерявшись, Илья тронул было ее за плечо, но она, не поворачиваясь, обеими руками отмахнулась от него. Пожав плечами, Илья встал и вышел в сени.

У открытой двери на улицу стояли Кузьма и Митро. Последний что-то тихо и зло говорил, стуча кулаком по дверному косяку. Кузьма молча смотрел себе под ноги. Наконец Митро сплюнул, обнял упирающегося Кузьму за плечи и потащил его на залитый солнцем двор. Дверь за цыганами захлопнулась, и в доме снова воцарилась звенящая утренняя тишина.

* * *

Вечером должны были ехать в ресторан. Целый день Илья наблюдал за сборами жены и дочери. Настя подгоняла на себя и Дашку городские платья, которых не носила бог знает сколько лет, укладывала дочери прическу, хваталась то за иглу, то за шкатулку с украшениями, то за гитару, и в глазах ее мелькал давно забытый блеск, коего Илья уже и не думал вновь увидеть у жены. Дашке, казалось, было все равно, хотя материю нового платья она ощупывала с интересом. В комнату то и дело вбегала Маргитка, лезла помогать Насте,

тараторила о последних фасонах, размахивала модным журналом, завистливо щелкала языком, глядя на распущенные Дашкины волосы. Изредка Илья ловил на себе ее пристальный взгляд. Казалось, девчонка хочет о чем-то спросить. Но, едва заметив, что Илья смотрит на нее, Маргитка быстро отворачивалась и продолжала трещать о модах.

В девятом часу вечера все собрались внизу, в большом зале. Илья сидел на диване, настраивал гитару, следил за входящими цыганами и цыганками. Маргитка явилась последней, сбегав по лестнице со второго этажа.

– Мама! Где моя шаль с кистями?! – завопила она на весь дом.

Поймав взгляд Ильи, осеклась, нахмурила густые, как у мужчины, брови. А он не сразу сумел отвести глаза, пораженный ее нарядом. Семнадцать лет назад хоровые цыганки одевались на выступление в ресторан по-русски, в шелковые и атласные платья, поверх которых накидывали цветные шали, волосы укладывали в высокие прически, украшали себя жемчужными ожерельями до пояса, дорогими брошами. А Маргитка сейчас стояла на ступеньке лестницы, одетая как таборная цыганка-болгарка. Сшитая из легкого шелка длинная красная юбка с оборкой, кофта с широкими рукавами, какие Илья видел в котлярских таборах. В косы вплетены мелкие монетки, а на шее – мониста. Такого, однако, не было и у котляров: Илья знал, что мониста могли носить только замужние женщины.

– Рот закрой, морэ, ворона влетит, – усмехнулся кто-то за его спиной. Вздвогнув, Илья обернулся, увидел Митро, смутился:

– Да я, морэ, это... вот... Как ты дочь-то одел? Раньше вроде не было такого.

– Я одел? Сама захотела! Насмотрелась на Илонкину родню, каждый год ведь наезжают табунами! Да, по чести сказать, я беды не вижу. Раньше этих болгар и знать никто не знал, а сейчас их полным-полно стало, как весна – стадами вокруг Москвы гуртуются! Господа в ихние таборы наезжают, на баб любят, а потом в ресторане к нам с глупостями пристают: почему у вас цыганки не по-цыгански одеты? Объяснять я им, что ли, буду? Поговорили с Яковом Васильичем, решили – если господам так нравится, пусть девки по-котлярски одеваются, хоть для пляски. И, знаешь, та-а-ак хорошо пошло! Певицы-то по-старому, в платьях, а плясуньи все в юбки с оборками позалезали и монет на себя повешали. Господа довольны, сил нет: настоящих цыганок им предоставили...

Илья недоверчиво покачал головой, хотя в душе вынужден был признать, что выглядит котлярский наряд лучше некуда – по крайней мере, на Маргитке. А через минуту в дверь щебечущей стайкой влетели дочери Стешки от десяти до шестнадцати лет – все в таких же юбках и кофтах, с монетками в волосах. За ними солидно протиснулась сама Стешка, утирающая пот со лба.

– Эй, чыялэ{Девчата.}, поспокойнее, мать совсем загнали! Здорово, Илья. Ну – вздрогнем сегодня, едешь с нами?

– Да уж, сестрица, тряхнем стариной, – в тон ей ответил Илья.

– Э-э... Смотри, чтоб не отвалилась старина-то!

Цыгане заржали. Илья тоже улыбнулся, подумав о том, что Стешку Дмитриеву не изменили ни замужество, ни дети – как была язва сибирская, так и осталась.

– Господи... – вдруг тихо ахнул рядом с ним Митро.

Илья поднял голову и увидел спускающихся сверху жену и дочь.

Настя шла впереди, одной рукой приподнимая подол платья, а другой держа за локоть Дашку. Черный блестящий атлас делал жену стройнее и выше, накинутая через плечо шаль была сколота бирюзовой брошью, и в этом наряде Настя казалась моложе на десять лет. Волосы ее, уложенные в тяжелый узел, отливали вороненой синевой, черные глаза блестели по-молодому живо, на губах играла уверенная улыбка. Илья невольно встал с дивана и, стоя, как и все, с открытым ртом, отчетливо понял: вот теперь его Настя на своем месте. Дашка осторожно шла за ней, придерживаясь за перила, стараясь не наступить на подол белого платья, выгодно оттенявшего ее смуглое строгое лицо.

– Ну, пхэнори... – только и проговорил Митро, делая шаг к лестнице. А больше ничего сказать он не успел, потому что хлопнула дверь с улицы, и в залу влетел запыхавшийся,

размахивающий гитарой Кузьма.

– Что, собрались уже? Слава богу, поспел! – На его физиономии была широкая улыбка, сощуренные глаза весело блестя, и о том, что Илья видел утром, напоминал лишь изжелта-черный синяк под левым глазом. Вспомнив о том, как утром Кузьма и Митро вдвоем ушли из дома, Илья подивился: слово, что ли, петушиное знает Арапо? Как ему удалось всего за день привести этого хитрованца в божеский вид?

– Ой, Кузьма, это ты? – тихо спросила Настя. Кузьма поднял глаза, охнул, смешался, шагнул было за спину Митро. Но Настя слетела с лестницы вихрем, как девчонка, пронеслась через всю залу и кинулась Кузьме на шею:

– Дэвлалэ! Морэ! Как же я тебя не видела давно! Дэвла, вот радость-то, а я вчера все глаза проглядела – где Кузьма, где мой дорогой? Ну, как ты, чяворо? {Мальчик.} Да что ж ты отворачиваешься, глупый, я тебе что – не тетка?!

Тетка, как же, подумал Илья, глядя на смущенную физиономию Кузьмы. Ее сестра двоюродная за его отцом замужем, вот и все родство... Но Настю такие мелочи не занимали. Она смеялась, целовала Кузьму, не давала ему отвернуться (тот явно старался спрятать синяк), и в конце концов Кузьма рассмеялся сам:

– Будет, сестрица, дыру процелуешь.

– Да как же тебе не стыдно? Я тебя столько лет не видела! Не узнать, право слово, не узнать! Я тебя мальчишкой помню, а тут – смотрите, саво мурш баро! {Какой молодец

знатный! }

Кузьма покраснел, невесело усмехнулся. Поискал взглядом Митро.

– Трофимыч, я еду?

– Да куда тебе... – неуверенно протянул Митро. – На пятак-то под глазом посмотри.

С лица Кузьмы пропала улыбка. Настя, забыв снять руки с его плеч, тревожно повернулась к брату:

– Митро, да бог с ним, с пятаком! Из второго ряда не увидят!

Митро колебался. Но в это время, на ходу оправляя темно-синий казакин, из кухни быстрым шагом вышел Яков Васильевич. Цыгане при виде его притихли.

– Сиди дома, – бросил он, едва взглянув на Кузьму.

Кузьма растерянно посмотрел на Митро. Тот, пожав плечами, отвернулся. Спорить было бесполезно, это знали все.

– Отец, – вдруг сказала Настя, – можем минуту подождать?

– Чего ждать?

– Стеша, пойдем со мной! Кузьма, живо! – Она схватила за руку Кузьму, махнула Стешке и устремила на кухню.

– Стой! Куда? Что я тебе – соловей легкокрылый?! – запыхтела Стешка, тщетно силясь поспеть за по-прежнему тоненькой и легкой сестрой. Яков Васильевич от неожиданности не успел возразить и стоял с удивленно поднятыми бровями, провожая взглядом Стешкину внушительную фигуру.

Когда дверь на кухню захлопнулась, он сердито крикнул:

– Дождись теперь...

Но долго ждать не пришлось. Через несколько минут дверь открылась. Первой выплыла довольно улыбающаяся Стешка, за ней появился Кузьма с выражением некоторого замешательства на лице, а следом вышла Настя, озабоченно внушающая:

– Только личность свою кулаком не три, а то еще хуже будет...

Синяка не было. Не было, хотя Илья трижды протер глаза. Поморгав, он повернулся к Митро, но и тот выглядел озадаченным:

– Девки, как же вы это?

– И очень просто! – торжествовала Настя. – Тестом замазали, а сверху – мелом с кирпичом, с печи наскребли. Дай бог, не расползется до ночи.

Яков Васильевич молчал, с неодобрением поглядывая на Кузьму. Цыгане притихли.

– Ладно, шут с вами, – наконец буркнул хоревод. – Едем.

Кузьма просиял. Настя потащила его к дверям, на ходу что-то оживленно говоря. Илья, держа за руку Дашку, шел следом. Уже в дверях они с Кузьмой встретились взглядами. Кузьма, нахмурившись, опустил глаза. Илья с досадой отвернулся. Черт знает что...

На улице оказалось еще теплее, чем вчера. Сирень развернула листочки, между ними уже проглядывали голубые

соцветия, верба у крыльца вся обвесилась золотистыми сережками, и даже луна, поднимающаяся над крышами Живодерки, была теплой, желтой, весенней. Где-то на задворках томно завывали коты. Со стороны церкви Великомученика Георгия доносился слабый перезвон. К заведению мадам Данаи, покачиваясь, подъезжал рыдван, набитый пьяными приказчиками. Пахло сыростью, влажной землей. Илья шагал рядом с Настей и Дашкой, но обе не обращали на него никакого внимания, вполголоса беседуя. От нечего делать он посматривал на Маргитку. Та шла впереди с молодыми цыганками, над чем-то смеялась, иногда поднимала руки – поправить волосы, и в тусклом вечернем свете на ее запястьях вспыхивали браслеты. Один раз она быстро обернулась, и Илья, захваченный врасплох, не успел отвести глаз. Но Маргитка взглянула мельком, снова расхохоталась, и он успокоился: не заметила.

Хозяина ресторана Осетрова не брали ни годы, ни обстоятельства. Все такой же высокий, прямой, сухопарый, с аккуратно подстриженной бородой, он лишь скупой улыбнулся на радостный возглас Митро:

– Фрол Васильич, знаешь, кто вернулся-то?

– Да уж слышали, – сдержанно отвечивал Осетров. – Настасья Яковлевна с супругом второй день как в Москву из табора прибыли. Очень рады приветствовать.

– Да ну тебя, гриб старый, – разочарованно протянул Митро. – Скучно с тобой, ей-богу. Какая тебе сорока принесла?

– Своя агентура имеется, – без тени улыбки ответил Осетров. – Уже и господа приезжали, спрашивали: верно ли, что Смоляковы и Настя здесь?

– Какие господа? – загорелся Митро.

– Да уж всякие. – Осетров поджал губы, и стало ясно, что больше он ничего не скажет.

– Вот черт упрямый... – пробурчал Митро, входя вслед за Ильей в черную дверь ресторана. – Пристукнут его когда-нибудь за вредность вселенскую. Смоляко, видал, как этот антихрист свое дело развернул? Царские хоромы против прежнего, верно?

Илья не мог не согласиться. Видно, что заведение Осетрова не так давно заново отделано и покрашено. Была заменена и вывеска, и золоченые буквы новой гласили на всю улицу: «Ресторанъ». Большие окна сверкали чистотой.

– Подожди, то ли будет, когда в зал выйдем, – усмехнулся Митро. – Право слово, лучше только в «Стрельне» да в «Яре»! У Осетрова год назад деньги завелись, наследство какое-то получил из деревни...

– Врут все про наследство, это он купца зарезал! – неожиданно сообщила Маргитка, стоявшая у двери и слушавшая разговор.

– Какого купца? – опешил Илья.

– Проезжего, – пояснила она. – Остановился наверху в номерах, вечером в ресторане гулял, деньгами хвастался, а ночью Осетров его и...

– Не болтай, дура, чего не знаешь! – рявкнул Митро, и Маргитка неохотно умолкла. – Языки ваши сорочьи повырывать бы! Бабье бестолковое, пошла вон отсюда!

– Слушай, правда, что ли? – тихо спросил Илья, когда Маргитка ушла.

– Да шут его разберет... – проворчал Митро. – Я, конечно, напраслину не буду возводить, а только ты про Осетрова что знаешь? Ничего? Вот и я ничего. Хоть уже тридцать лет у него в кабаке глотку деру. Понимай как знаешь.

Илья только почесал в затылке. Хозяин ресторана и в самом деле слыл фигурой таинственной. Доподлинно про него было известно лишь то, что в Москву он приехал в семилетнем возрасте из Ярославской губернии, откуда издавна набирали учеников в половые. Попал к владельцу известного трактира Тестову, в совершенстве освоил ресторанное дело, поднялся от мальчишки-посудомойки до буфетчика, а затем неожиданно для всех купил собственный трактир на Грузинской улице. Трактир был маленьким, грязным и безвестным: о нем знали лишь местные мастеровые да извозчики, наезжающие сюда с Тишинской площади «пить чай». За три года Осетров «развернул коммерцию» во всю ширь. Сделал из воюющего закутка небольшой, но вполне приличный ресторан, завел скатерти, салфетки и серебряную посуду и, наконец, пригласил к себе цыганский хор из Грузин, бывший тогда под управлением отца Якова Васильева. Извозчики и фабричные исчезли из обновившегося зала, и в ресторан Осет-

рова повалила «чистая» публика. И уже тогда никто не знал, откуда у Осетрова берутся деньги. Говорили разное: и что он торгует краденым, и что в подвале у него – тайная ювелирная мастерская, где «заныканные» на Тишинке золотые вещички переплавляются в лом, и что он содержит несколько публичных домов на Цветном бульваре – и тому подобное. Подтверждения, однако, всем этим домыслам не было, а вызвать на откровенность самого Фрола Васильича не удавалось еще никому. Дело в том, что Осетров совсем не пил и требовал того же от своих служащих. Если он видел кого-нибудь из них хоть немного выпивши на работе – следовал немедленный расчет, и любые уговоры, слезные просьбы и раскаяние были бесполезны.

Уже сворачивая в «актерскую», Илья обернулся и увидел, что Настя о чем-то говорит с Осетровым. Тот внимательно слушал, кивал и – небывалое! – улыбался в бороду. Илья, сердясь отчего-то, громко позвал жену. Та, на полуслове оборвав разговор, поспешила к нему.

Полчаса спустя хор вышел в зал. Илье все казалось сном – давним сном из молодости, позабытой сказкой. Меньше года он пел в московском хоре, но сейчас в голове одна за другой всплывали картинки-воспоминания. Огромный зал с красными панелями... Тяжелые занавеси, сверкающий пол, свечи, сотни огоньков, искрами отражающихся в паркете, в деках цыганских гитар, в бокалах с вином; запах дичи, белые скатерти, шелковые платья, фрачные пары, взгляды, взгля-

ды, взгляды... Как давно все это было. Было и прошло. Он и не думал, что спустя годы будет снова стоять с гитарой в руках во втором ряду вместе с Митро и Кузьмой и смотреть на Настьку. Жена, однако, заняла место не в центре, как прежде, а с краю, где сидели цыганки постарше. В середине устроились молодые плясуньи, и Илья видел прямо перед собой затылок Маргитки, разделенный аккуратным пробором. Духами от девчонки разило так, что он, поморщившись, с досадой подумал: как Яков Васильич разрешает? Сейчас распляшется, вспотеет, еще больше вони будет.

Цыганский хор встретили вежливыми аплодисментами. Вечер только начинался, пьяных еще не было. Яков Васильич спорой походкой вышел вперед, поклонился залу, затем, повернувшись к хору, взмахнул гитарой. «Сейчас «Тройку»...» – машинально подумал Илья. И все же вздрогнул от неожиданности, когда гитары взяли дружный аккорд и три десятка голосов действительно грянули «Тройку» – так же, как и семнадцать лет назад. И голос Насти так же отчетливо слышался из первого ряда:

Запрягу я тройку борзых,
Темно-карих лошадей
И помчуся в ночь морозну
К милой любушке своей!

Илья пел вместе со всеми, брал аккорды на гитаре, однако посматривал в зал и думал о том, как изменилась публика

за прошедшие годы. Раньше у Осетрова больше купцы сидели, редко кто из дворян наезжал – на Настю да на Зинку Хрустальную, военных много было – всего год после войны с турками прошел. А сейчас – всякой твари по паре... Штатских в пиджаках и сюртуках – пруд пруди, и не разберешь, князь ли, граф, купец или босота разночинная... Много было женщин, которые прежде вовсе не допускались в заведение Осетрова, и женщин, как определил Илья, приличных, не гулящих, в дорогих платьях и шляпах. Военных же вовсе не видать. Илья заметил лишь одного человека в офицерской форме – мужчину лет шестидесяти, с сильной проседью в черных гладких волосах, с широким разворотом плеч и прямой, несмотря на годы, осанкой. Он сидел за столиком у стены, держа в руке странную, длинную и изогнутую трубку, какую Илья видел у мадьярских цыган. Когда к его столику подошел половой принять заказ, военный досадливым движением руки отослал его и продолжил разглядывать хор. С растущим удивлением Илья понял, что смотрит он аккуратно на Настьку. Рядом с ним сидела дама – насколько Илье было видно из второго ряда, самая красивая во всем ресторане. В черном узком платье и шляпе с вуалеткой. Дама курила длинную папиросу, держа ее на отлете в тонких, смуглых, унизанных кольцами пальцах. На вид ей было около сорока, и лицо ее показалось Илье смутно знакомым. Военного он тоже, мог побожиться, где-то видел. Кто же они, эти господа?

Сомнения Ильи разрешились быстро. Как только хор до-

пел «Тройку» и раздались аплодисменты, седой человек быстро, но без спешки поднялся и пошел напрямиком к цыганам. Яков Васильич поклонился ему:

– Добрый вечер, Владимир Антонович.

– Здравствуй, Яков Васильич. Что – слышно, поздравить тебя можно? – Военный улыбнулся, блеснув крупными белыми зубами, его лицо сразу помолодело на несколько лет, и Илья вспомнил.

В переднем ряду тихо ахнула Настя:

– Бог мой... Владимир Антонович?!

– Настя, ты ли? – Капитан Толчанинов, постаревший, но не утративший молодецкой осанки и усов, щелкнул каблучками. Он склонился над протянутой рукой Насти, поднял голову, и на мгновение его лицо застыло. Увидел шрамы, догадался Илья. Но – что значит господское воспитание! – не подал и виду и взял Настю за обе руки:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.